



**МНІГМАР
О БЕРГМАНЕ**

**ШЕПОТЫ И КРИКИ
МОЕЙ ЖИЗНИ**

Юбилей великих и знаменитых

Ингмар Бергман

Шепоты и крики моей жизни

«АСТ»

1987

УДК 82-94
ББК 85.374

Бергман И.

Шепоты и крики моей жизни / И. Бергман — «АСТ»,
1987 — (Юбилеи великих и знаменитых)

ISBN 978-5-17-108224-6

«Все мои работы на самом деле основаны на впечатлениях детства», — признавался знаменитый шведский режиссер Ингмар Бергман. Обладатель трех «Оскаров», призов Венецианского, Каннского и Берлинского кинофестивалей, — он через творчество изживал «демонов» своего детства — ревность и подозрительность, страх и тоску родительского дома, полного подавленных желаний. Театр и кино подарили возможность перевоплощения, быстрой смены масок, ухода в магический мир фантазии: может ли такая игра излечить художника? «Шепоты и крики моей жизни», в оригинале — «Латерна Магика» — это откровенное автобиографическое эссе, в котором воспоминания о почти шестидесяти годах активного творчества в кино и театре переплетены с рассуждениями о природе человеческих отношений, искусства и веры; это закулисы страстей и поисков, сомнений, разочарований, любви и предательства.

УДК 82-94

ББК 85.374

ISBN 978-5-17-108224-6

© Бергман И., 1987

© АСТ, 1987

Содержание

Предисловие	6
I	8
II	17
III	22
IV	26
V	37
VI	42
Конец ознакомительного фрагмента.	48

Ингмар Бергман

Шепоты и крики моей жизни

© Ingmar Bergman, 1987

© А. А. Афиногорова, перевод, комментарии, 2018

© ООО «Издательство АСТ», 2018

* * *

Предисловие

Ингмар Бергман – всемирно известный *художник*, гениальный кинорежиссер и сценарист, создатель шедевров «Земляничная поляна», «Лицо», «Улыбки летней ночи» и «Шепоты и крики». Но каким он был *человеком*?

«Шепоты и крики моей жизни» («Латерна Магика») – книга уникальная; она состоит из интимных признаний и оскорбительных выпадов, в ней много размышлений творческого человека, признающего в любви к театру и кино. Бергман открывается читателю таким, каков он есть на самом деле, – откровенно, безо всяких скидок, без ненужной жалости к себе, без фальшивой скромности или скрытого тщеславия.

Детство во многом определяет нашу взрослую жизнь. И даже в шестьдесят лет в Бергмане есть что-то от болезненного уязвимого ребенка. Маленький чувствительный мальчик, хрупкий птенец в гнезде хищной птицы, который пылко любит свою мать, страдает от жестокости и грубости отца – религиозного фанатика – и соперничества с братом и сестрой. Ребенок, которому необходимо закалиться и научиться врать, чтобы выжить.

Через воспоминания прорывается его неуверенность, его сомнения и поиски, которыми была полна и сама жизнь художника. Впечатления от путешествий, встречи и разочарования, моменты страсти, – все это он педантично записывает день за днем и лишь много позже собирает воедино. Жизнь – это не длинный роман и тем более не автострада. Как говорит сам Бергман, жизнь – это смешение времен, и жанров, и всплывающих давних воспоминаний. Она противоречива. Это не связанные между собой, не выстраивающиеся в логическую цепочку памятные мгновения. Словно кадры, которые мальчик раз за разом прокручивает на своем кинематографе: фрау Холле дремлет на лугу, потом садится, вдруг исчезает и вот опять дремлет на лугу – память Бергмана продолжает работать; она возвращается, когда он меньше всего этого ожидает, подрывает настоящее, отменяет способность действовать, лишает уверенности зрелого человека. «После меня не останется мемуаров!» – высокомерно заявил Изидор Дюкас. Ингмар Бергман пользуется этим же превосходным принципом: он не поддается искушению рассказывать о себе, выпячивать себя. Ему нечего доказывать, у него нет потребности оправдываться. Он просто дает нам возможность поучаствовать в своей удивительной судьбе, которую сам не полностью контролирует. Такова цена правды.

Его жизнь сотрясали великие страсти. Женщины не были для Бергмана объектом завоевания, как для Дон Жуана, хотя он стремительно их меняет, – они были скорее загадкой, тайной в мире обыденности. А какие женщины! Актрисы, о которых мечтают все его современники: Улла Якобссон, Лив Ульман, божественная Ингрид Тулин и Биби Андерссон, предмет вожделения множества мужчин и зависти бесчисленных женщин. В его фильмах они олицетворяют красоту, молодость и решимость, в них есть что-то от древнего шведского язычества, они излучают силу и чувственность и представляют полную противоположность надменной скуке пуританского общества. Они следуют за Бергманом и... предаются – если только он не предаст их первым. Но помнит он их всех, не отказываясь ни от одного мгновения прошлого.

Образ матери – решающий в жизни Бергмана: образ жесткой и сдержанной женщины, собирающейся бросить мужа и детей ради другой любви, – невысказанный поступок в то время. Ее ухода Бергман боялся больше, чем гнева отца, и не мог забыть те сцены, когда мать стояла у входной двери, а отец не давал ей уйти. Раз он толкнул ее, она упала, из носа хлынула кровь, и перепуганный ребенок пронзительно закричал. Это была всего лишь бурная супружеская ссора, но она навсегда оставила отметину в душе мальчика.

Другая женщина – его бабушка, у которой он жил в Воромсе, в дачном доме в Даларна, – единственная, кто обращался с ним как с равным, кто разговаривал с ним, «рассуждал» и учил быть свободным.

Женщины, просветившие его: Мэрта, одно лето целомудренной любви к девочке-ровеснице (она станет прообразом Моника в фильме «Лето с Моникой», самой романтической его картине) и уродина Анна с ее мощным телом и звериной любовью – время пробудившейся сексуальности. Вторая великая страсть Бергмана, его безоговорочная любовь к театру, прекрасно сочетается с первой – естественной страстностью его натуры.

«Шепоты и крики моей жизни» – это вахтенный журнал долгого общения кинематографиста со сценическим искусством – и особенно с работой вне сцены: администрированием, сценографией, репетициями, выбором актеров, яростными спорами с продюсерами, разрешением финансовых проблем. Бергман хорошо знает, как работает театр. Как Мольер и, очевидно, Шекспир до него, он перепробовал все: от суфлерской будки до казалось бы завидной, но для него невыносимой позиции главы Драматена¹, западни известности, в результате чего он потерял свободу и вскоре возненавидел эту работу. Страсть к женщинам и страсть к театру – одно и то же для человека, единственным учителем которого был Август Стриндберг. Бергману дороги все пьесы Стриндберга, особенно «Фрёкен Жюли», но он считает себя скорее его верным слугой, чем наследником. Тот же искусственно сконструированный мир, та же женственность – в основе своей точная противоположность гимнастической мужественности гитлеровских войск...

В театре Бергману никогда не бывает скучно. Там он в своей стихии: язык, сценография, костюмы, голоса, дикция, напряжение. Там он обнаруживает, что ненавидит конформизм, посредственность, правила приличий и слащавую христианскую тиранию. В театре всегда где-то присутствует дьявол, затерроризированному сыну уппсальского пастора нужен только он. Это его реванш, его месть установленному порядку. И его обаяние. Театр, кино, да сама жизнь – желанный, неотразимый беспорядок. Похоже, Бергман уже в начале своего творческого приключения придерживался совета Уильяма Фолкнера: «Kill your darlings»².

* * *

Театр, кино и женщины. Если верить Стриндбергу, можно спросить себя, что реальнее: «Бывают моменты, когда я сомневаюсь, что жизнь более реальна, чем мои сочинения». Бергман выбирает это высказывание в качестве своего девиза. Но «сочинения» надо записывать. Для Бергмана искусство немислимо без писательства. Он ни на каких условиях не принимает импровизацию. Все его фильмы и, в определенной степени, постановки существуют в виде книг. Он пишет книги, отдает их в печать и раздает актерам перед съемками. Он следует жесткому плану, но это не исключает, что может произойти чудо: мгновение, когда камера случайно запечатлеет нечто неожиданное. Такой божественный момент случился во время съемок «Земляничной поляны» с его другом, незабвенным Виктором Шёстрёмом.

Искусство жить с женщинами – это совсем не то, что жить в обществе. Бергман безнравственен или, скорее, асоциален, и только с wybranными им женщинами он обретает профессию, энергию – обретает дом. Возможно, потому, что искусство для него, как он говорит в этой поразительной, глубокой, нелогичной и безупречной книге, полно лжи, зависти, эротических игр и трагикомедий; оно развивает ясность ума и является полем битвы, где ничего нельзя завоевать. Зато оно богато уроками. Прочитайте «Шепоты и крики моей жизни», она сделает вас лучше.

И какой же блистательный писатель этот человек театра!

Жан-Мари Гюстав Ле Клезю

¹ Шведский национальный театр, основанный в 1788 году

² *Убивайте своих возлюбленных (англ.)*

I

К моменту моего появления на свет в июле 1918 года мать болела «испанкой», я был очень плох, и потому меня вынуждены были крестить прямо в больнице. Наш старый домашний врач, зайдя как-то навестить семью, осмотрел новорожденного и заявил, что младенец может погибнуть от истощения. И тогда бабушка (со стороны матери) забрала меня с собой на дачу в Даларна. В поездке – а в то время такое путешествие занимало целый день – бабушка кормила меня бисквитом, размоченным в воде. Когда мы добрались до места, я едва дышал. Бабушка все-таки не теряла надежды и нашла кормилицу – славную светловолосую девушку из соседней деревни; я начал прибавлять в весе, но при этом постоянно мучился болями в животе и рвотой.

Кроме того, меня то и дело настигали какие-то непостижимые болезни, и я никак не мог решить, стоит ли мне продолжать жить. Где-то в глубине сознания осталась память о моем тогдашнем состоянии: вонь от выделений тела, влажная, натирающая кожу одежда, мягкий свет ночника, приоткрытая дверь в соседнюю комнату, тяжелое дыхание няньки, крадущиеся шаги, шепчущие голоса, солнечные зайчики на графине с водой. Все это я помню. Не помню лишь чувства страха. Оно появилось позднее.

Окна столовой выходили на темный задний двор, обнесенный высокой кирпичной стеной. Там – уборная, мусорные баки, стойка для выбивания ковров, жирные крысы. Я сижу на чьих-то коленях, меня кормят молочной смесью. На серой клеенке с красным кантом стоит эмалированная миска – голубые цветочки на белом фоне, – в которой отражается скупой свет из окна. Я наклоняюсь в разные стороны, пробую различные углы зрения. С каждым поворотом головы отражения в миске меняются и образуют новый рисунок. И вдруг начинается рвота.

Это, по всей видимости, мое самое раннее воспоминание – мы жили тогда в угловом доме на перекрестке улиц Шеппаргата и Стургата, на втором этаже. Осенью 1920 года мы переехали на Виллагата, 22, в районе Эстермальма. Квартира пахнет свежей краской и натертым паркетом. В детской пол покрыт ярко-желтым линолеумом, на окнах светлые опускающиеся шторы, на которых нарисованы рыцарские замки и полевые цветы. У матери мягкие, нежные руки, она никуда не спешит, часто рассказывает сказки. Отец, как-то раз вставая утром с кровати, опрокидывает ночной горшок и кричит: «Поцелуй меня в задницу!» В кухне, напевая, хозяйничают две девушки из Даларна. По другую сторону лестничной площадки живет моя одноклассница по имени Типпан. Она гораздо на выдумки и предприимчива. Мы с ней сравниваем строение наших тел и обнаруживаем интересные различия. Кто-то застает нас за этим занятием, но ничего не говорит.

Появляется на свет моя сестра, мне четыре года, и положение радикально меняется: главную роль вдруг начинает играть эта жирная уродина. Меня изгоняют из материнской постели, отец сияет от радости, склоняясь над орущим свертком. Демон ревности рвет когтями мое сердце, я неистовствую, рыдаю, делаю кучи на пол и вымазываюсь с ног до головы. Я и мой старший брат, с которым мы обычно смертельно враждовали, заключаем мир и придумываем разные способы, как известить эту отвратительную тварь. Брат почему-то считает меня наиболее подходящей кандидатурой для выполнения нашего плана. Я чувствую себя польщенным, и мы ждем подходящего случая.

Однажды тихим солнечным днем, полагая, что в квартире никого нет, я проскальзываю в родительскую спальню, где в розовой корзине спит это существо. Пододвигаю стул, взбираюсь на него и смотрю на раскормленное лицо и слюнявый рот. От брата я получил четкие инструкции по поводу того, что мне нужно делать, но неправильно их понял. Вместо того чтобы сжать шею сестры, я давлу ей на грудь. Она тут же просыпается с пронзительным криком, я зажи-

маю ей рот рукой, она таращит свои водянистые голубые глаза, они косят, я делаю шаг вперед, чтобы было удобнее схватить ее, теряю опору и падаю на пол.

Помню, действие это сопровождалось острым наслаждением, которое почти мгновенно сменилось ужасом.

Я склоняюсь над фотографиями моего детства, рассматриваю в лупу лицо матери и пытаюсь пробиться сквозь угасшие чувства. Конечно, я любил ее, она весьма привлекательна на этой фотографии: густые волосы с пробором посередине над низким, широким лбом, нежный овал лица, приветливо изогнутые чувственные губы, теплый, открытый взгляд из-под темных, красивой формы бровей, маленькие сильные руки.

Мое четырехлетнее сердце сгорало от собачьей любви.

Но наши отношения были вовсе не так просты – моя преданность досаждала ей, вызывала раздражение, а проявления нежности с моей стороны и бурные вспышки эмоций беспокоили ее. Она нередко отсылала меня прочь холодным ироничным тоном. Я рыдал от бешенства и разочарования. Отношение матери к брату было гораздо проще, поскольку ей все время приходилось защищать его от отца, воспитательный метод которого отличался суровой твердостью и включал в себя жестокие телесные наказания в качестве неперемennого аргумента.

Со временем я понял, что мое то сентиментальное, то неистовое обожание не оказывает ровным счетом никакого действия.

С ранних лет я начал искать ту манеру поведения, которая могла бы понравиться матери, привлечь ее внимание. Заболевший немедленно вызывал ее участие. А так как я был болезненным ребенком, страдавшим всевозможными недугами, болезнь стала хотя и неприятным, но зато надежным способом пробудить у нее нежность. Симуляцию же мать распознавала сразу (она была дипломированной медсестрой) и наказывала за нее на совесть.

Другой способ обратить на себя ее внимание был опаснее. Обнаружив, что мать не выносила равнодушия и безразличия – ведь это было ее собственное оружие, – я научился обуздывать свою страсть и повел удивительную игру, главными элементами которой были высокомерие и холодная приветливость. Что уж я там вытворял, не помню, но любовь делает человека изобретательным, и вскоре мне удалось пробудить интерес к моему кровоточащему чувству собственного достоинства.

Проблема заключалась лишь в том, что я так и не получил возможности раскрыть карты, сбросить маску и испытать сладость ответной любви.

Много лет спустя, когда мать лежала в больнице со вторым инфарктом и с трубкой в носу, мы заговорили с ней о нашей жизни. Я рассказал ей о своей детской страсти, и мать призналась, что ее это очень мучило, но вовсе не так, как полагал я. Оказывается, она поделилась своими тревогами со знаменитым детским врачом, и тот в самых серьезных выражениях высказал ей свои опасения (начало 20-х годов). Он посоветовал ей самым решительным образом отклонять мои, как он выразился, «болезненные заигрывания». Любая уступка повредит мне на всю жизнь.

У меня сохранилось отчетливое воспоминание об одном визите к этому врачу. Поводом послужил мой отказ ходить в школу несмотря на то, что мне уже исполнилось шесть лет. День за днем меня, орущего от страха, втаскивали или вносили в класс. Все окружавшие меня предметы вызывали у меня немедленно рвотный рефлекс, я падал в обмороки, появились нарушения вестибулярного аппарата. В конце концов я победил, и посещение школы отодвинули на неопределенный срок, но визита к выдающемуся педиатру избежать не удалось.

У доктора была большая борода, высокий стоячий воротник, и от него пахло сигарами. Он стянул с меня штаны, взял одной рукой мой крошечный член, а указательным пальцем другой очертил в паху треугольник и сказал матери, сидевшей наискосок позади меня в отороченном мехом пальто и темно-зеленой бархатной шляпке с вуалью: «В этом отношении ваш сын еще ребенок».

Когда мы вернулись домой после визита к врачу, на меня надели бледно-желтый передник с красной каймой и вышитой кошкой и дали горячий шоколад и бутерброд с сыром, после чего я отправился в отвоеванную детскую – брат болел скарлатиной и жил где-то в другом месте (я, разумеется, надеялся, что он умрет – в то время скарлатина была опасной болезнью). Из шкафа с игрушками я вытащил деревянную тележку с красными колесами и желтыми спицами и запряг в оглобли деревянную лошадь. Угроза посещения школы поблекла, уступив место сладостным воспоминаниям о достигнутом успехе.

Как-то позвонила мать и сказала, что отца положили в больницу на операцию по поводу злокачественной опухоли пищевода. Она хотела, чтобы я навестил его. Я ответил, что у меня на это нет ни желания, ни времени, говорить нам с отцом не о чем, он для меня чужой человек, а если я навещу его, лежащего, по всей видимости, на смертном одре, он будет лишь напуган и смущен. Мать разозлилась и начала настаивать. Я тоже возмущенно попросил ее перестать играть на моих чувствах. Вечно одно и то же: ну сделай это ради меня. Мать пришла в бешенство и разрыдалась, а я, заметив, что слезы никогда на меня не действовали, бросил трубку.

В тот вечер я дежурил в театре – проверял сцены, беседовал с артистами, проводил в зал зрителей, опоздавших из-за чудовищного снежного бурана. Но большую часть времени сидел в своем кабинете и работал над мизансценами к «Дознанию» Петера Вайса.

Зазвонил телефон, и телефонистка сообщила мне, что внизу стоит фру Бергман и требует свидания с директором театра. Поскольку я знал нескольких фру Бергман, я ворчливо спросил, какая еще, черт возьми, фру Бергман? Телефонистка немного испуганно ответила, что это моя мать и она желает поговорить со своим сыном – немедленно.

Я спустился вниз и привел мать в кабинет – буран не помешал ей явиться в театр. Она тяжело дышала – от напряжения, больного сердца и гнева. Я предложил ей сесть и спросил, не хочет ли она выпить чашку чая. Нет, садиться она и не подумает и чай пить не намерена. Она пришла, чтобы еще раз услышать от меня те оскорбительные, бессердечные и грубые слова, которые я сказал ей по телефону днем. Она желает посмотреть на выражение моего лица, когда я буду отрекаться от своих родителей и оскорблять их.

На ковре вокруг маленькой, одетой в шубу фигурки образовались темные пятна от таявшего снега. Она была очень бледна, глаза потемнели от гнева, нос покраснел.

Я сделал попытку обнять и поцеловать ее, но она оттолкнула меня и дала пощечину. (Мать умела давать пощечины с непревзойденным мастерством. Удар был молниеносный, левой рукой, и два массивных обручальных кольца оставляли потом довольно болезненное напоминание о наказании.) Я засмеялся, а мать судорожно зарыдала. Она опустилась – весьма ловко – на стул, стоявший у большого стола, и, закрыв лицо правой рукой, принялась левой искать в сумке носовой платок.

Сев рядом, я начал уверять ее, что, конечно же, обязательно проведаю отца, что раскаиваюсь в своих прежних словах и прошу ее от всего сердца простить меня.

Она пылко обняла меня и заявила, что ни минутой дольше не будет меня задерживать.

После этого мы пили чай и мирно беседовали до двух часов ночи.

То, о чем я только что поведал, произошло во вторник, а в воскресенье утром мне позвонил один знакомый нашей семьи, который жил у матери, пока отец лежал в больнице, и попросил немедленно приехать – матери стало плохо. Мамин врач, профессор Наина Шварц, уже в пути, в настоящий момент приступ прошел. Я поспешил на Стургатан, 7. Дверь открыла профессор и сообщила, что мать умерла всего несколько минут назад.

К собственному удивлению, я не смог сдержаться и безудержно разрыдался. Но слезы скоро высохли, старая докторша молча держала меня за руку. Когда я успокоился, она рассказала, что агония продолжалась недолго – двумя приступами по двадцать минут.

Спустя некоторое время я остался наедине с матерью в ее тихой квартире.

Мать лежала в кровати, одетая в белую фланелевую ночную сорочку и вязаную голубую ночную кофту. Голова чуть повернута, рот приоткрыт. Темные круги вокруг глаз подчеркивали бледность лица, все еще черные волосы аккуратно расчесаны – впрочем, нет, волосы уже не были черными, они были серо-стального цвета, и последние годы она носила короткую стрижку, но в памяти ее волосы оставались по-прежнему черными, возможно, прореженные седыми прядками. Руки сложены на груди. На левом указательном пальце белела полоска пластыря.

Внезапно комнату залило ярким светом приближающейся весны. На тумбочке в изголовье усердно тикал маленький будильник.

Мне казалось, что мать дышит, что грудь ее вздымается, что я слышу тихое дыхание, вижу, как подрагивают ее веки; мне казалось, будто она спит и вот-вот проснется. (Моя вошедшая в привычку обманчивая игра с действительностью.)

Я просидел там несколько часов. Колокола церкви Хедвиг Элеоноры прозвонили к мессе, по комнате перемещался свет, откуда-то слышались звуки рояля. Не думаю, чтобы я особенно горевал, – по-моему, я вообще ни о чем не думал, я, кажется, даже не наблюдал за собой со стороны, не разыгрывал спектакль с собственной персоной в главной роли – профессиональная болезнь, немилосердно преследовавшая меня всю жизнь и зачастую нарушавшая цельность моих самых глубоких переживаний или вовсе лишавшая меня их.

Я мало что помню из часов, проведенных в комнате матери. Самое яркое воспоминание – полоска пластыря на ее левом указательном пальце.

В тот же вечер я навестил отца и сообщил ему о смерти матери. Он хорошо перенес операцию и справился с последовавшим за операцией воспалением легких. Сейчас, одетый в старый халат, он сидел в голубом кресле в своей палате, благообразный, чисто выбритый, сжимая длинными костлявыми пальцами набалдашник палки. И не сводил с меня ясных, спокойных, широко раскрытых глаз. Когда я рассказал все, что знал, он только кивнул и попросил оставить его одного.

В основе нашего воспитания лежали такие понятия, как грех, признание, наказание, прощение и милосердие, конкретные факторы отношений детей и родителей между собой и с Богом. В этом была своя логика, которую мы принимали и, как мы полагали, понимали. Вполне возможно, именно это привело нас к робкому приятию нацизма. Мы никогда ничего не слышали о свободе и вовсе не представляли себе, что это такое. В иерархической системе все двери закрыты.

Таким образом, наказания были сами собой разумеющимися, их целесообразность никогда не подвергалась сомнению. Порой они бывали скорыми и незамысловатыми – вроде оплеух или шлепков по заднице, но иногда принимали весьма изощренные, отточенные поколениями формы.

Если Эрнст Ингмар Бергман писал в штаны – а такое случалось весьма часто, – ему приходилось остаток дня ходить в красной, до колен юбочке. Это считалось безобидным и потешным.

Прегрешения посерьезнее наказывались по всей строгости. Сперва выяснялось, в чем преступление. Потом преступник признавался в содеянном в низшей инстанции, то есть в присутствии гувернанток, матери или кого-нибудь из многочисленных безмолвных родственников, в разное время живших в пасторском особняке.

За признанием немедленно следовал бойкот. С провинившимся никто не разговаривал, не отвечал на вопросы. Это должно было, как я понимаю, заставить виновного мечтать о наказании и прощении. После обеда и кофе стороны вызывались в кабинет к отцу. Там возобновлялись допросы и признания. После чего приносили прут для выбивания ковров, и преступник сам решал, сколько ударов он, по его мнению, заслужил. Определив меру наказания, доставали

зеленую, туго набитую подушку, с виновного стягивали штаны, клали его животом вниз на подушку, кто-нибудь крепко держал его за шею, и приговор приводился в исполнение.

Не могу утверждать, что было очень больно, – боль причиняли сам ритуал и унижение. Брату приходилось хуже. Не один раз мать, сидя у его кровати, клала примочки ему на спину, исполосованную до крови розгами. А я, ненавидя брата и боясь его внезапных вспышек бешенства, испытывал глубокое удовлетворение от того, что его подвергали такому жестокому наказанию.

Получив причитающиеся удары, следовало поцеловать отцу руку, затем произносились слова прощения, с души падал тяжкий камень греха, чувство освобождения и милосердия проникали в сердце, и, хотя в тот день приходилось ложиться спать без ужина и вечернего чтения, облегчение было велико.

Существовало также и своего рода спонтанное наказание, весьма неприятное для ребенка, боявшегося темноты, а именно – длительное или кратковременное заключение в особую гардеробную. Кухарка Альма рассказывала, будто как раз в этой гардеробной обитало крошечное существо, обгрызавшее большие пальцы ног у злых детей. Я отчетливо слышал, как кто-то шевелится во мраке, ужас обуревал меня, не помню уж, что я предпринимал – наверное, пытался залезть на полки или уцепиться за крюки, лишь бы спасти пальцы ног. Но этот вид наказания перестал вселять в меня страх после того, как я нашел выход из положения: спрятав в углу карманный фонарик с красным и зеленым огоньками. Если меня запирали в гардеробную, я отыскивал фонарик, включал его, направлял лучик света на стенку и представлял себе, что сижу в кино. Однажды, отворив дверь гардеробной, меня обнаружили лежащим на полу с закрытыми глазами – я притворился, будто потерял сознание. Все перепугались, кроме матери, которая подозревала симуляцию, однако доказательств не было, и посему дальнейших репрессий не последовало.

Способы наказаний были разнообразные: запрещали ходить в кино, не давали есть, заставляли лежать в постели, запирали в комнате, таскали за волосы, ссылали на кухню (что порой бывало очень приятно), объявляли бойкот на какое-то время и так далее.

Теперь я понимаю отчаяние моих родителей. Пасторская семья живет как на ладони, не защищенная от посторонних взглядов. Двери дома открыты для всех. Прихожане беспрерывно критикуют и отпускают замечания. Будучи людьми, во всем стремившимися к совершенству, отец и мать, естественно, едва выдерживали такое непомерное давление. Их рабочий день был неограничен, супружеские отношения с трудом удерживались в надлежащих рамках, дисциплина – железная. В обоих сыновьях проявлялись те черты характера, которые родители неутомимо подавляли в себе. Брат был не способен защитить ни себя, ни свой бунт. Отец направил всю свою силу воли, чтобы сломить его, и это ему почти удалось. Сестру родители любили бурно и властно. Она отвечала самоуничижением и робким трепетом.

Думаю, я понес наименьшие потери благодаря тому, что научился врать. Надел личину, не имевшую практически ничего общего с моим подлинным «я». Но не понимал, что следует четко разграничивать созданный мною образ и свою истинную сущность, и вредные последствия этого еще долго сказывались в моей взрослой жизни и на моем творчестве. Приходится утешаться мыслью, что живший во лжи любит правду.

Прекрасно помню свою первую сознательную ложь. Отец стал больничным пастором, мы переехали в желтый дом в конце большого парка, примыкавшего к лесу Лилль-Янс. Был холодный зимний день. Мы с братом и его приятелями кидались снежками в теплицу, расположенную на окраине парка. Было разбито не одно стекло. Садовник немедленно заподозрил нас, о чем и сообщил отцу. Последовал допрос. Брат признался, его приятели – тоже. Я стоял на кухне и пил молоко. Альма на кухонном столе раскатывала тесто. Через заиндевелое окно я различал фронтон поврежденной теплицы. Вошла Сири и рассказала о происходящих экзекуциях. Она спросила, не принимал ли и я участие в этом вандализме – факт, который я отрицал

на предварительном допросе (и был временно отпущен в связи с отсутствием доказательств). Когда же Сири шутливым тоном (и словно мимоходом) поинтересовалась, много ли стекол мне удалось разбить, я мгновенно увидел расставленную западню и спокойно ответил, что, мол, просто немного постоял и посмотрел, бросил пару снежков без определенной цели, попал в брата и ушел, потому что у меня замерзли ноги. Отчетливо помню мелькнувшую у меня тогда мысль: так вот, значит, что такое врать.

Это было важное открытие. Я решил – почти так же рассудительно, как мольеровский Дон Жуан, – стать Лицемером. Не собираюсь утверждать, будто мне всегда одинаково везло. Иногда из-за отсутствия опыта меня разоблачали, иногда вмешивались посторонние.

У нашей семьи была одна беспредельно богатая благодетельница, которую звали тетя Анна. Она устраивала детские праздники с фокусами и другими развлечениями, дарила очень дорогие и желанные подарки на Рождество и каждую весну водила нас на премьеру цирка Шуманна в Юргордене. Это событие приводило меня в лихорадочное возбуждение: поездка на автомобиле с одетым в ливрею шофером, огромное, ярко освещенное деревянное здание, таинственные запахи, широченная шляпа тети Анны, грохот оркестра, магия приготовлений, рев диких зверей за красным форгангом. Кто-то шепчет, будто видел льва в темном люке под куполом, беснуются и наводят ужас клоуны; от всех переживаний я заснул и проснулся под звуки чудной музыки: на арене молодая женщина в белом одеянии гарцует на громадном вороном жеребце.

Я влюбился в юную наездницу. Выдумывал игры с ее участием, называл ее Эсмеральдой (возможно, ее и на самом деле так звали). В конце концов мои фантазии преступили роковую грань, отделявшую их от действительности, когда я поведал моему соседу по парте Ниссе (взяв с него клятву молчать) о том, что мои родители продали меня в цирк Шуманна, скоро я покину дом и школу и буду учиться на акробата вместе с Эсмеральдой, считавшейся первой красавицей в мире. На следующий день мой поэтический вымысел был предан гласности и осквернен.

Учительница сочла дело настолько серьезным, что написала возмущенное письмо матери. Началось ужасающее судебное разбирательство. Я был выставлен на посмешище, унижен, опозорен – и дома и в школе.

Пятьдесят лет спустя я спросил мать, помнит ли она историю с продажей меня в цирк. Она помнила ее очень хорошо. Тогда я спросил, почему никто не посмеялся, не умилился богатству фантазии и дерзости. Да и стоило бы задаться вопросом, почему семилетний мальчик хочет оставить родной дом, чтобы быть проданным в цирк. У родителей и так хватало забот с моим враньем и выдумками, сказала мать. Измучившись, она даже консультировалась с известным педиатром. Он подчеркнул, как важно ребенку вовремя научиться проводить грань между фантазией и действительностью. И теперь, столкнувшись с нахальной и очевидной ложью, следовало примерно наказать провинившегося.

Я же, решив отомстить своему бывшему другу, гонялся за ним по школьному двору с одолженной у брата финкой в руках и чуть не убил учительницу, бросившую нас разнимать.

Меня временно исключили из школы и хорошенько выпороли. Вероломный друг вскоре заболел полиомиелитом и умер, что доставило мне живейшую радость. Класс, как полагается, распустили на три недели по домам, и все было забыто. Я же продолжал придумывать истории с участием Эсмеральды. Наши приключения становились все опаснее, а любовь разгоралась все сильнее. Тем не менее я не терял времени даром и обручился с девочкой из нашего класса по имени Гладис, изменив таким образом Типпан, моей верной подруге по играм.

* * *

Парк, где расположена больница Софияхеммет, огромен. Он простирается вдоль Валхаллавеген, одной стороной к Олимпийскому стадиону, другой – к Политехническому институту,

забираясь в глубь леса Лилль-Янс. На холмистой местности были разбросаны немногочисленные – в те времена – строения.

Здесь я гулял, предоставленный самому себе, здесь пережил много приключений. Мое внимание особенно привлекала часовня, небольшое кирпичное сооружение в глубине парка. Благодаря дружбе с больничным сторожем, отвечавшим за перевозку усопших из больницы в часовню, я услышал разные интересные истории и увидел множество трупов в разной стадии разложения. В другом здании, куда вход, вообще-то, был запрещен, находился машинный зал, громко гудели четыре громадные печи. Уголь подвозили на вагонетках, и черные фигуры бросали его в огонь. Несколько раз в неделю прибывали подводы, запряженные тяжеловесами арденской породы. Работники в капюшонах из мешковины подтаскивали мешки к открытым стальным дверцам. Время от времени на сжигание поступали таинственные транспорты с грузом окровавленных человеческих органов и отрезанных рук и ног.

Два воскресенья в месяц отец служил мессу в больничной часовне, заполнявшейся медсестрами в черной праздничной форме с накрахмаленными белыми передниками и шапочками на ухоженных волосах. Напротив пасторской усадьбы располагался Сульхеммет, дом для престарелых медсестер, посвятивших всю свою жизнь больнице. Они образовали настоящий монашеский орден со строгим монастырским уставом.

Обитатели Сульхеммет могли видеть все, что происходит в пасторской усадьбе. И они смотрели.

По правде говоря, я с удовольствием и любопытством думаю о ранних годах моей жизни. Фантазия и чувства получали богатую пищу; не припомню, чтобы мне когда-нибудь было скучно. Скорее, дни и часы взрывались фейерверком примечательных событий, неожиданных сцен, волшебных мгновений. Я до сих пор способен совершать прогулки по местам моего детства, вновь переживая освещение, запахи, людей, комнаты, моменты, жесты, интонации, предметы. Редко когда это бывают эпизоды, поддающиеся пересказу, – это, пожалуй, короткие или длинные, наугад снятые фильмы без всякой морали.

Привилегия детства: свободно переходить от волшебства к овсяной каше, от безграничного ужаса к бурной радости. Границ не было, помимо запретов и правил, но они чаще всего скользили мимо, как тени, были непонятными. Знаю, к примеру, что никак не мог уяснить важность правил, связанных с временем: ты должен наконец научиться следить за временем, у тебя теперь есть часы, ты умеешь определять время. И все-таки времени не существовало. Я опаздывал в школу, опаздывал к столу. Беззаботно бродил по больничному парку, наблюдал, фантазировал, время исчезало, что-то напоминало мне, что я вроде бы проголодался, и в результате – скандал.

Было необычайно трудно отделить фантазии от того, что считалось реальным. Постаравшись как следует, я мог бы, наверное, удержать действительность в рамках реального, но вот, например, привидения и духи. Что с ними делать? А сказки – они реальны? Бог и ангелы? Иисус Христос? Адам и Ева? Всемирный потоп? И как обстояло дело в действительности с Авраамом и Исааком? Собирался ли он и вправду перерезать горло сыну? Распаленный, я вглядывался в гравюру Доре, воображая себя Исааком: это – реальность, отец собирается перерезать горло Ингмару, может случиться, что Ангел запоздает. Тогда они все зарыдают. Хлещет кровь. Ингмар слабо улыбается. Действительность.

А потом появился кинематограф.

* * *

До Рождества оставалось еще две-три недели. Одетый в ливрею шофер беспредельно богатой тети Анны, господин Янссон, уже доставил множество подарков, по традиции сложенных в специальную корзину, стоявшую в чуланчике под лестницей, ведущей на второй

этаж. Мое нетерпеливое любопытство особенно вызвал один пакет: коричневый, прямоугольной формы, на котором было написано «Форснерс». «Форснерс» называлась фотофирма на Хамнстатбаккен. И там продавались не только фотоаппараты, но и настоящие кинопроекторы.

Больше всего на свете мне хотелось обладать кинопроектором. Год назад я впервые побывал в кино, смотрел фильм про лошадь; по-моему, он назывался «Красавчик вороной» и был сделан по известной детской книге. Фильм шел в кинотеатре «Опоре», мы сидели в первом ряду на балконе. Это было началом. Меня одолела лихорадка, которая так никогда и не прошла. Беззвучные тени поворачивают ко мне свои бледные лица и неслышно говорят, обращаясь к самому заветному во мне. Миновало шестьдесят лет, ничего не изменилось, меня по-прежнему бьет лихорадка.

Как-то позднее, осенью, я был в гостях у своего школьного товарища. У него был кинопроектор и несколько фильмов, и он счел своим долгом устроить нам с Типпан киносеанс. Мне разрешили крутить ручку, пока хозяин флиртовал с Типпан.

Рождественские праздники были заполнены множеством увеселений. Мать твердой рукой осуществляла режиссуру. Для проведения этой оргии гостеприимства, застолий, приезжающих родственников, рождественских подарков и церковных ритуалов требовалась, вероятно, значительная организационная работа.

Сочельник в нашей семье проходил довольно спокойно – рождественская служба в пять часов в церкви, оживленное, но сдержанное застолье, потом зажигали елку, читали рождественское Евангелие и рано ложились спать, так как надо было вставать к заутрене, которая в те времена действительно начиналась ранним утром. Подарки в Сочельник не раздавали, но настроение было радостное в предвкушении празднеств, предстоявших на Рождество. После заутрени со свечами и звуками труб приступали к рождественскому завтраку. Отец к тому времени, покончив со своими профессиональными обязанностями, снимал пасторский сюртук и переодевался в домашнюю куртку. Он был в самом веселом расположении духа, произносил импровизированную речь в стихах, чокался с гостями, пил водку, пародировал братьев-священников, веселил присутствующих. Я иногда вспоминаю его веселую беспечность, беззаботность, нежность, дружелюбие, его задор – все то, что с такой легкостью заслонило его мрачностью, тяжелым характером, жестокостью, холодностью. Наверно, вспоминая отца, я часто бываю несправедлив к нему.

После завтрака несколько часов спали. Внутренняя организованность все-таки, наверное, действовала безотказно, ибо в два часа, когда начинало смеркаться, подавали кофе. Дом был открыт для всех, кому хотелось пожелать счастливого Рождества его обитателям. Среди друзей семьи были профессиональные музыканты, и нередко после обеда устраивался импровизированный концерт. Приближалась кульминация празднества – ужин, лукуллов пир. Он сервировался во вместительной кухне, где на это время переставала действовать социальная табель о рангах. Кушанья выстраивались на сервировочных столиках и застланных скатертями столах для мытья посуды. Раздача подарков происходила в столовой. Вносили корзины, отец отправлял богослужение, размахивая вместо кадила сигарой и стаканом с пуншем, вручались подарки, читались под аплодисменты и комментарии стихи – ни один подарок не должен был остаться без стишка.

Вот мы и подошли к кинопроектору. Его получил мой брат.

Я тотчас заревел, на меня шикнули, я спрятался под столом, продолжая бесноваться, мне велели замолчать, я убежал в детскую, ругаясь и проклиная всех, собрался было бежать из дома и в конце концов с горя заснул.

Праздник продолжался.

Поздно вечером я проснулся. Внизу Гертруда пела народную песню, горел ночник. На высоком комодe слабо мерцал транспарант с изображением яслей и молящихся волхвов. На белом складном столе среди остальных рождественских подарков брата стоял кинопроектор

– с изогнутой трубой, с красивой формы латунной трубкой-линзой и устройством для закрепления пленки.

Решение созрело мгновенно: я разбудил брата и предложил ему сделку – сотню моих оловянных солдатиков в обмен на кинопроектор. А поскольку у Дага была большая армия и он беспрерывно проводил какие-то сложные военные операции со своими друзьями, сделка состоялась к обоюдному удовольствию.

Кинопроектор стал моим.

Конструкция аппарата была несложной. Источником света служила керосиновая лампа, ручка была соединена с шестеренкой и мальтийским крестом. В заднем торце жестяного ящика – простое зеркало-отражатель. Позади трубки-линзы находился держатель для цветных кадров. К аппарату прилагалась фиолетовая четырехугольная коробка, в которой лежали стеклянные пластинки и окрашенная сепией пленка (35 мм) длиной около трех метров, склеенная в кольцо. На крышке стояло название фильма – «Фрау Холле». Никто не знал, кто такая фрау Холле, но потом выяснилось, что это фольклорный вариант богини любви в странах Средиземноморья.

На следующий день я забрался в просторную гардеробную при детской, установил кинопроектор на ящике из-под сахара, зажег керосиновую лампу, направив ее свет на белую оштукатуренную стену, и зарядил пленку.

На стене появилось изображение луга. На лугу дремала молодая женщина, по всей видимости, в национальном костюме. И тут я повернул ручку (это невозможно объяснить, у меня не хватает слов, чтобы описать мое возбуждение, в любой момент я могу вызвать в памяти запах нагретого металла, перебивавшего запах пыли и средства от моли, прикосновение ручки к ладони, дрожащий прямоугольник на стене).

Я повернул ручку – и девушка проснулась, села, медленно встала, вытянула руки, повернулась и пропала за правой границей кадра. Я продолжал крутить ручку, она опять лежала на лугу и потом точь-в-точь повторяла все движения.

Она двигалась.

II

Детские годы в пасторской усадьбе при больнице Софияхеммет: повседневный ритм, дни рождения, церковные праздники, воскресенья. Обязанности, игры, свобода, ограничения и чувство надежности. Длинная темная дорога в школу зимой, игра в шарики и велосипедные прогулки весной, воскресные вечера с чтением вслух у камина осенью.

Мы не знали, что мать страстно влюбилась, а отец находился в тяжелой депрессии. Мать собиралась разводиться, отец грозил покончить с собой, потом они помирились и решили сохранить семью «ради детей» – так это называлось в то время. Мы ничего, или почти ничего, не замечали.

Однажды осенним вечером, когда я забавлялся со своим кинопроектором в детской, сестра спала в комнате матери, а брат был на занятиях по стрельбе, я вдруг услышал отчаянную перепалку, доносившуюся с первого этажа. Мать плакала, отец что-то гневно говорил. Мне стало страшно, такого я раньше никогда не слышал. Я выскользнул на лестницу и увидел родителей, ссорившихся в холле. Мать пыталась вырвать пальто из рук отца, тот не уступал. Наконец она отпустила пальто и ринулась к двери прихожей. Отец опередил ее, оттолкнул в сторону и загородил дверь. Мать накинулась на него, началась драка. Мать дала отцу пощечину, он отшвырнул ее к стене. Она потеряла равновесие и упала. Я громко закричал. Сестра, разбуженная шумом, вышла на лестничную площадку и сразу же заплакала. Родители опомнились.

Что было дальше, помню плохо. Мать сидела на диване в своей комнате, из носа у нее шла кровь, она пыталась успокоить сестру. Я стою в детской, смотрю на кинопроектор, потом патетически бросаюсь на колени и обещаю Богу отдать и фильм и аппарат, если мама с папой помирятся. Мои молитвы были услышаны. Вмешался настоятель прихода Хедвиг Элеоноры (папин начальник). Родители заключили мир, и беспредельно богатая тетя Анна увезла их в длительное путешествие по Италии. Бабушка взяла бразды правления в свои руки, порядок и иллюзорная надежность были восстановлены.

* * *

Бабушка (со стороны матери) жила по большей части в Упсале, но у нее еще был красивый летний дом в Даларна. Овдовев в тридцать лет, она разделила парадную квартиру на Трэдгордсгатам пополам, оставив себе пять комнат, кухню и комнату для прислуги. В момент моего появления на свет она обитала там одна в компании фрекен Эллен Нильссон, монументальной матроны из Смоланда, не подверженной влиянию времени, которая вкусно готовила, была глубоко религиозна и баловала нас, детей. После смерти бабушки она перешла на службу к матери – ее любили и боялись. В семьдесят пять лет, заболев раком горла, она убрала свою комнату, написала завещание, поменяла купленный матерью билет второго класса на билет третьего и уехала к сестре в Патахольм, где и умерла через несколько месяцев. Эллен Нильссон, которую мы, дети, звали «Лалла», прожила в семье бабушки и матери больше пятидесяти лет.

Бабушка и Лалла жили в темпераментном симбиозе, в котором имели место многочисленные ссоры и примирения, но который никогда не ставился под сомнение. Для меня огромная (может, и не такая уж огромная) квартира на Трэдгордсгатам была символом надежности и волшебства. Многочисленные часы отмеряли время, солнечные лучи скользили по бескрайней зелени ковров. От голландских печей исходил вкусный дух, гудело в дымоходе, звякали заслонки. Иногда с улицы доносился звон колоколов – мимо проезжала санная упряжка. Колокола Домского собора созывали на службу или на похороны. Утром и вечером раздавался отдаленный нежный звон колокола Гуниллы.

Старомодная мебель, тяжелые гардины, потемневшие картины. В конце длинного темного холла находилась интересная комната: в двери у самого пола были просверлены четыре дырки, стены оклеены красными обоями, а посередине стоял трон из красного дерева и плюша с латунной окантовкой и орнаментом. К трону вели две ступеньки, застланные мягким ковром. Под тяжелой крышкой открывалась бездна мрака и запахов. Чтобы сидеть на бабушкином троне, требовалось мужество.

В холле помещалась высокая железная печка, испускавшая свой особый запах тлеющих углей и разогретого металла. В кухне Лалла готовила обед – питательные щи, их горячий аромат распространялся по всей квартире, вступая в высший союз со слабыми испарениями потайной комнаты.

Для маленького человечка, который едва не касается носом пола, от ковров свежо и сильно пахнет средством против моли, они успевают им пропитаться за летние месяцы, когда лежат без дела, свернутые в рулоны. Каждую пятницу Лалла натирает старые паркетные полы мастикой и скипидаром, издающими невыносимую вонь. Сучковатые, в заусенцах дощатые полы пахнут жидким мылом. Линолеум моют вонючей смесью из снятого молока и воды. Люди вокруг испускают симфонии запахов: пудры, духов, дегтярного мыла, мочи, выделений половых желез, пота, помады, грязи, чада. От некоторых пахнет просто человеком, от одних исходит запах надежности, от других – угрозы. Толстая Эмма, тетка отца, носит парик, который она приклеивает к лысине специальным клеем. Тетя Эмма вся пропахла клеем. От бабушки пахнет «глицерином и розовой водой», своего рода одеколоном, купленным безо всяких ухищрений в аптеке. У матери запах сладкий, словно ваниль, но когда она сердится, пушок у нее над губой увлажняется – и она источает едва ощутимый запах металла. Лучше всех пахнет хромоножка Мэрит, молоденькая, круглолицая, рыжеволосая нянька. Самое большое наслаждение – лежать в ее кровати, головой на ее руке, уткнувшись носом в грубую ткань ее рубашки. Исчезнувший мир света, запахов, звуков. Когда я лежу неподвижно, собираясь погрузиться в сон, я вновь обретаю способность бродить по комнатам, вижу каждую мелочь, я знаю и чувствую. В тишине бабушкиной квартиры чувства мои раскрылись, решив сохранить это все навек. Куда это уйдет? Унаследовал ли кто-нибудь из моих детей отпечатавшиеся во мне впечатления, можно ли унаследовать чувственные впечатления, переживания, прозрения?

Дни, недели и месяцы, проведенные у бабушки, отвечали, вероятно, моей назойливой потребности в тишине, организованности, порядке. Я играл в свои одинокие игры, не скучая по обществу. Бабушка сидела за столом в столовой, в черном платье и полосатом голубом переднике. Она читала, проверяла счета или писала письма, стальное перо чуть слышно царапало бумагу. В кухне занималась делами Лалла, напевая себе под нос. Я склонялся над своим кукольным театром, сладострастно поднимая занавес над мрачным лесом Красной Шапочки или празднично освещенным залом Золушки. Моя игра завоевывала власть над сценой, мое воображение населяло ее.

* * *

Воскресенье, у меня болит горло, можно не ходить к мессе, я остаюсь в квартире один. Зима доживает последние дни, в окна проникают солнечные лучи, быстро и беззвучно скользя по занавесам и картинам. Огромный обеденный стол возвышается над моей головой, я прислоняюсь спиной к его гнутой ножке. Стулья вокруг стола и стены комнаты обиты потемневшей золотистой кожей, пахнущей старостью. За моей спиной горой вздымается буфет, в изменчивом свете поблескивают стеклянные графины и хрустальные бокалы. На продольной стене слева висит большая картина, на которой изображены белые, красные и желтые дома, словно растущие из синей воды; по воде скользят продолговатые лодки.

Столовые часы, достающие почти до лепного потолка, угрюмо и глухо разговаривают сами с собой. С того места, где я сижу, мне видна мерцающая зелень зала. Зеленые стены, ковры, мебель, гардины, в зеленых горшках – папоротники и пальмы. Я различаю обнаженную белую даму с обрубленными руками. Она стоит, немного наклонившись вперед, и с улыбкой смотрит на меня. На пузатом, отделанном золотом бюро с золотыми ножками – позолоченные часы под стеклянным колпаком. К циферблату прислонился юноша, играющий на флейте. Рядом с ним крошечная дама в широкополой шляпе и короткой юбочке. Обе фигурки – позолоченные. Когда часы бьют двенадцать, юноша начинает играть на флейте, а девушка – танцевать.

Комната освещается солнцем, его лучи вспыхивают в хрустальной люстре, бегут по картине с домами, растущими из воды, ласкают белизну статуи. Бьют часы, танцует золотая девушка, юноша играет, обнаженная дама поворачивает голову и кивает мне, во мраке прихожей Смерть опускает свою косу на линолеум, я вижу ее, ее желтый ухмыляющийся череп, вижу ее темную длинную фигуру на фоне застекленной входной двери.

* * *

Хочу взглянуть на бабушкино лицо, нахожу фотографию. На ней – дедушка, транспортный начальник, бабушка и три пасынка. Дедушка с гордостью глядит на свою юную жену, у него ухоженная черная борода, пенсне в золотой оправе, высокий воротничок, предобеденный костюм безупречен. Сыновья подтянулись – молодые люди с неуверенным взглядом и расплывчатыми чертами лица. Достая лупу и изучаю лицо бабушки. Глаза светлые, пронзительный взгляд, округлые щеки, упрямый подбородок, рот решительный, несмотря на вежливую, для фотографии, улыбку. Густые темные волосы уложены в тщательную прическу. Ее нельзя назвать красивой, но она излучает силу воли, ум и юмор.

Молодожены производят впечатление состоятельной, уверенной в себе пары: мы согласились играть наши роли и исполним их. Сыновья же кажутся растерянными, усмиренными, а может быть, преисполненными бунтарства.

Дед построил дачу в Дуфнэсе, одном из красивейших мест Даларна, с великолепным видом на реку, степные просторы, пастбища и синеющие вдаль горные хребты. А так как он обожал поезда, железная дорога проходила прямо по склону угодий в каких-нибудь ста метрах от дома. Он мог, сидя на веранде, проверять по часам время прохождения всех восьми поездов, по четыре в каждом направлении, из которых два были товарные. Он мог видеть и железнодорожный мост через реку, чудо строительной техники, его гордость. Я вроде бы когда-то сидел у деда на коленях, но его не помню. От него мне достались в наследство изогнутой формы мизинцы и, возможно, страсть к паровозам.

Как я уже говорил, бабушка овдовела, будучи совсем молодой. Она оделась в черное, волосы тронула седина. Дети переженились и улетели из гнезда. Она осталась одна с Лаллой. Мать как-то рассказывала, что бабушка никого никогда не любила, кроме своего младшего сына, Эрнста. Мать пыталась завоевать ее любовь, подражая ей во всем, но характером была куда мягче, и попытка не удалась.

Отец называл бабушку властолюбивой ведьмой. В этой своей оценке он наверняка был не одинок.

И тем не менее лучшие годы моего детства прошли у бабушки. Она относилась ко мне с суровой нежностью и интуитивным пониманием. Мы с ней выработали, например, ритуал, который она ни разу не нарушила. Перед обедом усаживались на ее зеленый диван и часок «беседовали». Бабушка рассказывала о Большом Мире, о Жизни и Смерти (немало занимавшей мои мысли). Спрашивала, о чем я думаю, внимательно слушала, продираясь сквозь мое

мелкое вранье или с дружеской иронией отбрасывая его в сторону. С ней я мог говорить как личность, реальная личность, без маскарада.

Наши «беседы» – это всегда сумерки, доверительность, зимний вечер.

У бабушки было еще одно замечательное качество. Она любила ходить в кино, и если фильм позволялось смотреть детям (понеделничные утра с кинопрограммой на третьей странице «Упсала Нью Тиднинг»), то не надо было дожидаться субботы или второй половины дня воскресенья. Удовольствие омрачалось лишь одним обстоятельством. Бабушка не переносила любовных сцен, которые я, напротив, обожал. Она обычно ходила в чудовищного вида ботах, и когда герой с героиней чересчур долго и томительно выражали свои чувства, бабушкины боты начинали скрипеть, а кинозал оглашался жуткими звуками.

Мы читали друг другу вслух, выдумывали разные истории, чаще всего с привидениями и другими ужасами, рисовали «человечков» – своеобразные комиксы. Один рисовал первую картинку, другой, рисуя вторую картинку, развивал действие. Так рисовали иногда несколько дней подряд, по сорок – пятьдесят картинок, сочиняя к ним пояснительный текст. Жизнь на Трэдгордсгатан протекала в Каролинском духе. Вставали после того, как затапливали голландские печи, в семь утра. Обтирание ледяной водой в жестяном корыте, завтрак – овсяная каша и бутерброды на хрустящих хлебцах. Утренняя молитва, выполнение домашних заданий или уроки под бабушкиным присмотром. В час – чай с бутербродом. Затем гулянье, в любую погоду. Прогулка по городу от одного кинотеатра к другому: «Скандия», «Фюрис», «Рёда кварн», «Слоттс», «Эдда». В пять часов обед. Вынимаются старые игрушки, сохранившиеся с детских лет дяди Эрнста. Чтение вслух. Вечерняя молитва. Звонит колокол Гуниллы. В девять часов – ночь.

Лежать на кушетке и слушать тишину. Наблюдать, как движутся по потолку свет и тени, отбрасываемые уличным фонарем. Когда на Упсальской равнине беснуется снежный буран, фонарь качается; тени извиваются, в печи пляшет и завывает огонь.

По воскресеньям обедали в четыре часа. Приходила тетя Лоттен. Она жила в доме для престарелых миссионеров, когда-то они с бабушкой учились в одной группе и были одними из первых студенток в стране. Тетя Лоттен уехала потом в Китай, где, занимаясь миссионерской деятельностью, потеряла красоту, зубы и один глаз.

Бабушка знает, что мне противна тетя Лоттен, но считает необходимым закалять мой дух. Поэтому на воскресных обедах меня сажают рядом с тетей Лоттен. Я гляжу прямо в ее волосатые ноздри с застывшим комком желто-зеленых соплей. От нее воняет высохшей мочой. Когда она говорит, вставные челюсти щелкают, а ест она, держа тарелку у самого лица и чавкая. Время от времени у нее из живота доносится урчание.

Эта отвратительная личность обладает одним сокровищем. Покончив с обедом и кофе, она достает из желтого деревянного ящика китайский театр теней. На дверь, ведущую из столовой в залу, вешают простыню, гасят свет, и тетя Лоттен разыгрывает спектакль театра теней (должно быть, весьма умело: она одновременно управляла несколькими фигурами, играя одна все роли, внезапно экран окрашивался в красный или синий свет, по красному полю вдруг проносился демон, на синем – появлялся тоненький серпик луны, потом все неожиданно становилось зеленым, в глубине моря плавали странные рыбы).

Иногда приходили в гости мамины братья со своими устрашающими женами. Мужчины были толстые, с бородами и громкими голосами. От женщин в большущих шляпах несло потливой суетливостью. Я по возможности старался держаться подальше. Но меня брали на руки, обнимали, чмокали, тискали, щипали. Приставали с назойливыми интимностями: на этой неделе мальчику не пришлось ходить в красной юбке? На прошлой неделе, кажется, ты часто писал в штаны. Открой рот, я посмотрю, не качается ли зубик, а, вот он, разбойник, давай-ка его вырвем, получишь десять эре. По-моему, мальчик косит, смотри на мой палец, ну конечно, один глаз не двигается, нужно надеть черную повязку, будешь как пират. Закрой рот,

малыш, что ты все ходишь с открытым ртом, у тебя, наверное, полипы, у человека с открытым ртом глупый вид, бабушка должна проследить, чтобы тебе сделали операцию, ходить с открытым ртом вредно.

Они делали резкие движения, во взгляде сквозила неуверенность. Жены курили. В присутствии бабушки они потели от страха, голоса у них были резкие, речь торопливая, лица накрашенные. Они не походили на мать, хотя и были матерями.

Зато дядя Карл отличался от всех.

III

Дядя Карл выслушивал упреки, сидя на бабушкином зеленом диване. Это был крупный тучный человек с высоким лбом, то и дело озабоченно наморщиваемым, с лысиной в коричневых пятнах и остатками редких кудрей на затылке. Волосатые уши пламенели. Большой круглый живот давил на ляжки, очки запотели от выступившей влаги, скрывая добрые, фиалкового цвета глаза. Жирные мягкие руки сжаты между коленями. Бабушка, маленькая, с прямой спиной, – в кресле у журнального столика. На правом указательном пальце – наперсток, то и дело она постукивала наперстком по блестящей поверхности стола, подчеркивая значимость своих слов. Она, как и всегда, в черном платье, украшенном белым воротником и брошью-камеей, и будничном переднике в белую и голубую полоску. Ее густые белые волосы блестели в солнечных лучах, был морозный зимний день, гудел огонь в голландской печи, окна затянуты ледяным узором. Часы под стеклянным колпаком проббили двенадцать быстрых ударов, пастушка исполнила для пастушка свой танец. В арку ворот въехали сани: зазвенели бубенцы, послышался царапающий звук полозьев о булыжник и гулкий цокот тяжелых копыт.

Я сидел на полу в соседней комнате. Мы с дядей Карлом только что разложили рельсы для поезда, который мне подарила на Рождество беспредельно богатая тетя Анна. Внезапно в дверях возникла бабушка и отрывисто и холодно позвала дядю Карла. Он встал, тяжело вздохнув, надел пиджак и одернул на животе жилет. Они удалились в залу. Бабушка закрыла, разумеется, за собой дверь, но та чуточку отъехала в сторону, и я смог наблюдать за происходящим, словно действие разыгрывалось на сцене.

Бабушка говорила, дядя Карл сидел, выпятив толстые красные с синим отливом губы. Его крупная голова все глубже уходила в плечи. Вообще-то, дядя Карл приходился мне дядей лишь наполовину, поскольку он был бабушкин старший пасынок, не намного моложе ее самой.

Бабушка являлась его опекуном – дядя Карл был слаб умом, «котелок у него плохо варил», и не способен о себе заботиться. Иногда он попадал в дом для умалишенных, но по большей части жил на пансионе у двух пожилых дам, которые всячески за ним ухаживали. Это было преданное и ласковое, словно большой пес, существо, но сейчас дело зашло чересчур далеко: как-то утром он выбежал из своей комнаты, не удосужившись надеть ни кальсон, ни брюк, и бросился страстно обнимать тетю Беду, осыпая ее слюнявыми поцелуями и неприличными словами. Тетя Беда отнюдь не впала в панику, а ущипнула дядю Карла за нужное место, точно следуя рекомендациям врача. После чего позвонила бабушке.

Дядя Карл, преисполненный раскаяния, чуть не плакал. Тишайший человек, он каждое воскресенье ходил с тетей Бедой и тетей Эстер в миссионерскую церковь. Опрятный темный костюм, мягкий взгляд, красивый баритон – его вполне можно было принять за проповедника. Он выполнял различные мелкие поручения, будучи как бы церковным сторожем на общественных началах, его охотно звали на кофе и встречи швейного кружка, где он с удовольствием читал вслух, пока дамы занимались рукоделием.

Дядя Карл, в сущности, был изобретателем. Он заваливал Королевское патентное бюро чертежами и проектами, но без особого успеха. Из сотен заявок было принято всего две: машина для чистки картофеля, из которой клубни выходили одного размера, и автоматическая щетка для чистки клозетов.

Он был очень подозрителен. Больше всего его беспокоило, как бы кто-нибудь не украл его идеи. Поэтому он заворачивал свои чертежи в клеенку и засовывал их за брюки. Клеенка была не лишней, поскольку дядя Карл страдал недержанием мочи. Нередко, находясь в большом обществе, он не мог сдержать своей тайной страсти. Обвив правой ногой ножку стула, он приподнимался, и его брюки и кальсоны намокали от теплой струи.

Бабушка, тетя Эстер и тетя Беда знали об этой его слабости и могли коротким резким призывом «Карл!» не допустить подобного удовлетворения его потребности, зато фрекен Агда однажды, к своему ужасу, услышала шипение, исходившее от раскаленной плиты. Застигнутый на месте преступления, дядя Карл воскликнул: «Опля, а я тут пеку блинчики!»

Я восхищался им и по-настоящему верил тете Сигне, утверждавшей, что дядя Карл был самый талантливый из всех четырех братьев, но Альберт из зависти ударил своего старшего брата молотком по голове, в результате чего бедный мальчик на всю жизнь повредился в уме.

* * *

Я восхищался им потому, что он изобрел всякие приспособления для моей Латерны Магики и для моего кинопроектора, смастерил держатель для диапозитивов и объектив, вмонтировал вогнутое зеркало и экспериментировал с тремя и больше перемещавшимися по отношению друг к другу стеклянными пластинами, им собственноручно разрисованными. Таким образом он добился подвижного фона для фигурок. У них вырастали носы, они парили, из освещенных лунным светом могил появлялись привидения, шли на дно корабли, тонущая мать держала ребенка над головой, пока их обоих не поглощали волны.

Купив обрезки пленки по пять эре за метр, дядя Карл погружал их в горячий раствор соли, чтобы смыть эмульсию. Когда пленка высыхала, он тушью рисовал на ней подвижные картинки или абстрактные узоры, которые менялись, взрывались, разбухали, съеживались.

Вот он сидит, грузно склонившись над рабочим столом в своей заставленной мебелью комнате, пленка закреплена на освещенном снизу матовом стекле. Очки сдвинуты на лоб, в правом глазу – лупа. Он курит короткую изогнутую трубку, на столе – еще несколько таких же трубок, вычищенных и набитых табаком. Я смотрю не отрываясь на крошечные фигурки, быстро и уверенно возникающие на квадратиках пленки. Работая, дядя Карл говорит и посаживает трубку, говорит и постанывает:

– Вот здесь цирковой пудель Тедди делает кувырок вперед, это у него хорошо получается, это он умеет. А теперь свирепый хозяин цирка заставляет бедного песика сделать сальто назад – Тедди не может. Он ударяется головой в манеж, в глазах у него звезды и солнца – звезды делаем другого цвета, красные. На голове у него выросла шишка, пойдика в столовую, выдвинь левый ящик буфета, там лежит пакетик конфет, они их спрятали, потому что Ма говорит, что мне нельзя есть сладостей. Возьми четыре конфеты, только осторожно, смотри, чтобы никто не увидел.

Я выполняю поручение и получаю одну конфету. Остальные дядя Карл запикивает в толстогубый рот, от жадности пуская слюни. Он откидывается на спинку стула и, прищурившись, смотрит на серые зимние сумерки.

– Я тебе что-то покажу, – вдруг произносит он, – только не говори Ма.

Он встает и идет к столу, над которым висит абажур, зажигает лампу, ее желтый свет падает на восточный орнамент скатерти. Дядя Карл садится и предлагает мне занять место по другую сторону стола. Оборачивает один конец скатерти вокруг кисти левой руки и сперва осторожно, а потом все быстрее начинает крутить и вертеть рукой. И наконец кисть отделяется от руки на уровне накрахмаленной манжеты, капельки какой-то мутной жидкости каплют на стол.

– У меня есть два костюма, каждую пятницу я должен являться к твоей бабушке, чтобы поменять белье и костюм. И так продолжается уже двадцать девять лет. Ма обращается со мной как с ребенком. Это несправедливо, Бог накажет ее. Бог наказывает власть имущих. Гляди, в доме напротив пожар!

Сквозь свинцовые облака пробилось зимнее солнце, ярко вспыхнули окна в доме напротив, на Гамля Огатан. На обоях загорелись прямоугольники густого желтого цвета, правая половина лица дяди Карла пламенеет. На столе между нами лежит оторванная кисть.

После смерти бабушки опекуном стала моя мать. Карла перевезли в Стокгольм, где он снимал две комнатухи у старушки сектантки, жившей на Рингвеген, недалеко от Ётгатан.

Старый порядок был восстановлен. Каждую пятницу Карл являлся в пасторский особняк, получал чистое белье, переодевался в вычищенный, отглаженный костюм и обедал со всем семейством. Он не менялся, такой же грузный и круглый, такой же розовощекий, с фиалковыми глазами за толстыми стеклами очков. По-прежнему без устали атаковал Патентное бюро своими изобретениями. По воскресеньям пел псалмы в миссионерской церкви. Мать управляла всеми его финансами, выдавая ему еженедельно карманные деньги. Он звал ее «сестра Карин» и иногда иронизировал над ее беспомощными попытками подражать бабушке: «Ты хочешь быть как мачеха. Не старайся. Ты для этого слишком добрая. Мамхен была безжалостна».

В одну из пятниц к нам пришла хозяйка дяди Карла. У них с матерью состоялся долгий разговор наедине. Рыдания хозяйки разносились по всему дому. Спустя два-три часа она, опухшая от слез, удалилась. Мать отправилась на кухню к Лалле, опустилась на стул и, смеясь, сказала: «Дядя Карл обручился с женщиной на тридцать лет моложе его».

Через пару недель обрученные нанесли визит. Они хотели обсудить с отцом церемонию венчания – она должна быть простой, но по-церковному торжественной. На дяде Карле была свободная, спортивного покроя рубашка без галстука, клетчатый блейзер и отутюженные фланелевые брюки без единого пятнышка. Свои старомодные очки он заменил современными в роговой оправе, высокие ботинки на застежках – мокасинами. Он был немногословен, собран, серьезен. Ни единой путаной мысли, ни единого дурашливого выражения.

Дядя Карл поступил работать сторожем в церковь Софии. Свою изобретательскую деятельность он забросил:

– Видишь ли, Schwesterchen³, это была иллюзия.

Невесте, тощей, небольшого росточка женщине с костлявыми плечами и длинными худыми ногами, было немного за тридцать. Крупные белые зубы, собранные на затылке волосы медового цвета, длинный правильной формы нос, тонкие губы и круглый подбородок. Глаза темные, блестящие. На жениха она смотрела ласковым взглядом собственницы, крепкая рука как бы по рассеянности покоилась на его колене. Она была преподавательницей физкультуры.

Пожизненное опекуновство должно быть отменено:

– Представления мачехи о моих умственных способностях были одной из ее иллюзий. Она была властным человеком, ей надо было держать кого-нибудь в своей власти. Schwesterchen никогда не сможет стать такой же, как мачеха, сколько бы она ни старалась. Это иллюзия.

Невеста разглядывала семейство своими блестящими черными глазами и молчала.

Через несколько месяцев помолвка была расторгнута. Дядя Карл возвратился в комнатухи на Рингвеген и ушел с работы в церкви Софии. Он доверительно сообщил матери, что был вынужден покончить с изобретениями. Невеста пыталась всячески препятствовать ему, дело доходило до скандалов и драк, у Карла на щеке остались следы ногтей:

– Я думал, что могу покончить с изобретательством. Это было иллюзией.

Мать вновь взяла на себя опекуновство, каждую пятницу дядя Карл приходил в пасторскую усадьбу, менял костюм и нижнее белье и обедал с семьей. Его страсть писать в штаны усилилась.

³ «сестричка» (нем.). – Здесь и далее – примеч. пер.

Но у него была еще одна, гораздо более опасная склонность. Отправляясь в Королевскую библиотеку или в Городскую библиотеку, где он любил проводить дни, он делал крюк и шел через железнодорожный туннель под Сёдером. Сын транспортного инженера, построившего железную дорогу между Крюльбу и Иншён, дядя Карл обожал поезда. Когда они с грохотом проносились мимо него в туннеле, он прижимался к скалистой стене, грохот приводил его в восторг, скала сотрясалась, пыль и дым опьяняли.

Однажды весенним днем его обнаружили сильно изуродованным, лежащим на рельсах. Под брюками нашли клеенчатый пакет с чертежами приспособления, упрощающего замену ламп в уличных фонарях.

IV

Когда мне было двенадцать лет, один музыкант, игравший на челесте в «Игре снов» Стриндберга, разрешил мне во время представления сидеть за сценой. Впечатление было ошеломляющее. Вечер за вечером, спрятавшись в башенке просцениума, я становился свидетелем сцены бракосочетания Адвоката и Дочери. Впервые в жизни я прикоснулся к магии актерского перевоплощения. Адвокат двумя пальцами – большим и указательным – вертел шпильку для волос, сгибал ее, распрямлял, переламывал пополам. *В руке у него не было ничего, но я видел эту шпильку!* За кулисами стоит в ожидании своего выхода офицер. Чуть наклонившись вперед, рассматривает свои ботинки, руки за спиной, беззвучно откашливается – самый что ни на есть обыкновенный человек. Но вот он открывает дверь и выходит на сцену. И мгновенно изменяется, преображается, он – Офицер!

* * *

Поскольку в душе моей беснуется буря, которой нельзя давать волю, я боюсь всего непредвиденного, непредсказуемого. Посему моя профессиональная работа заключается в педантичном управлении неизъяснимым. Я – посредник, организатор, человек, создающий ритуалы. Есть режиссеры, материализующие собственный хаос, в лучшем случае им удастся из этого хаоса сотворить спектакль. Мне отвратительна подобная самодеятельность. Я никогда не участвую в пьесе – я перевожу, конкретизирую. Самое главное – в моей работе нет места для личных проблем, если только они не помогают проникнуть в тайну текста или же не дают выверенного толчка творческой фантазии актера. Я ненавижу бури, агрессивность, эмоциональные взрывы. Моя репетиция – это операция, проводимая в специально оборудованном для этой цели помещении. Там царят самодисциплина, чистота, свет и тишина. Репетиция – это работа, а не психотерапевтический сеанс режиссера и актера.

Я презираю Вальтера, который уже в 11 часов утра пребывает в легком подпитии и вываливает на окружающих свои неприятности. Мне противна Тереза, которая со всех ног кидается мне на шею, испуская запах пота и духов. Мне хочется отлупить Пауля, этого злополучного педераста, явившегося в туфлях на высоком каблуке, хотя он прекрасно знает, что ему целый день придется бегать по лестницам на сцене. Я ненавижу Ваню, которая, отдуваясь, врывается в зал с опозданием ровно на одну минуту, растрепанная, расхристанная, нагруженная сумками и пакетами. Меня раздражает Сара, забывшая рабочий экземпляр пьесы, и ее вечное ожидание двух важных телефонных разговоров. Я хочу покоя, порядка и дружелюбия. Только так мы сумеем приблизиться к безграничности. Только так постигнем тайну и овладеем механизмом повторения. Живого, пульсирующего повторения. Каждый вечер – один и тот же спектакль, тот же самый, и тем не менее каждый раз рождающийся заново. Кстати, как научиться дозволенному, длящемуся всего какую-то секунду *rubato*, столь необходимому, чтобы спектакль не превратился в мертвящую рутину или в непереносимое своеволие? Все хорошие актеры знают эту тайну, посредственные должны ею овладеть, плохие не постигнут никогда.

Итак, моя работа – управлять текстом и рабочим временем. Я несу ответственность за то, чтобы дни проходили не совсем бессмысленно. Я не бываю просто человеком со своими личными заботами. Я наблюдаю, регистрирую, констатирую, контролирую. Заменяю актерам глаза и уши. Предлагаю, прельщаю, вдохновляю или отвергаю. Во мне отсутствует спонтанность, импульсивность, соучастие в игре, хотя внешне все выглядит наоборот. Если бы я на секунду снял маску и высказал то, что на самом деле думаю и чувствую, мои товарищи накинулись бы на меня, разорвали на части и выбросили в окно.

Но маска не искажает моей сути. Интуиция работает быстро и четко, я все замечаю, маска – лишь фильтр, не пропускающий ничего личного, не относящегося к делу. Буря – под контролем.

Довольно долгое время я жил с немолодой, поразительно талантливой актрисой. Она издевалась над моей теорией чистоты, утверждая, будто театр – это дерьмо, похоть, необузданность и вообще ад. Она говорила: «Единственный твой недостаток, Ингмар Бергман, – страсть ко всему здоровому. Ты должен избавиться от нее, ибо она лжива и подозрительна, она ставит тебе пределы, за которые ты не осмеливаешься переступить, тебе следовало бы, как доктору Фаустусу Томаса Манна, подыскать себе шлюху-сифилитичку».

Возможно, она была права, а может, это были просто романтические бредни в духе времени поп-искусства и наркотиков. Не знаю. Знаю только, что эта красивая гениальная актриса потеряла память и зубы и умерла пятидесяти лет от роду в сумасшедшем доме. Сполна получила за свое распутство.

Между прочим, художники, имеющие пристрастие к теоретизированию, весьма опасны. Их идеи внезапно становятся модными, что нередко приводит к катастрофическим последствиям. Игорь Стравинский обожал теоретические формулировки. Он много писал об интерпретации. Внутри у него бушевал вулкан, и потому он призывал к сдержанности. Посредственности, читая его рассуждения, согласно кивали головами. Те, у кого и намек на вулкан не было, взмахивали дирижерскими палочками, свято соблюдая сдержанность, а Стравинский, который никогда не жил так, как учил, дирижировал своего «Аполлона Мусагета», словно это был Чайковский. Мы же, знакомые с его теориями, слушали и поражались.

* * *

Год 1986-й, я в четвертый раз ставлю «Игру снов». Я доволен своим решением – «Фрекен Жюли» и «Игра снов» пойдут в одном театральном сезоне. Мой кабинет в Драматене отремонтирован, я уже обосновался в нем. Я – дома.

Подготовительный этап начался с осложнений. Я пригласил для постановки одного сценографа из Гётеборга. Его подруга, после десяти лет совместной жизни, сбежала с молодым актером. У сценографа открылась язва, и он приехал в конце июня на Форё в ужасном состоянии.

В надежде, что работа обуздает его депрессию, мы начали проводить наши ежедневные совещания. У художника дрожали губы, и он, глядя на меня своими чуть вытаращенными глазами, шептал: «Хочу, чтобы она вернулась». Я, не желая играть роль духовника, был непреклонен. Через несколько недель он сломался окончательно, заявил, что работать больше не в силах, после чего упаковал вещички и вернулся в Гётеборг, где, подняв паруса, отправился в морское путешествие с новой любовницей.

Мне ничего не оставалось, как обратиться к моему старому другу и сотруднице Марик Вое. Она с дружелюбным воодушевлением приняла предложение и поселилась в нашем гостевом домике. Мы сильно запаздывали, но приступили к работе в хорошем настроении. Марик много лет назад уже делала «Игру снов» с Улофом Муландером, основоположником стриндберговской традиции.

Своими прежними постановками я был недоволен: телевизионный спектакль завяз в технических проблемах (в то время даже пленку нельзя было резать). Спектакль на Малой сцене получился довольно убогим, несмотря на прекрасную актерскую игру. Немецкая авантюра захлебнулась в величественных декорациях.

На этот раз я собирался играть пьесу без изменений и купюр, в том виде, в каком она была написана. Кроме того, я намеревался перевести чересчур сложные сценические указания в технически выполнимые элегантные решения. Мне хотелось, чтобы зритель почувствовал

вонь, идущую с заднего двора адвокатской конторы, холодную красоту заснеженной дачной местности Фагервик, сернистую дымку и дьявольское мерцание Скамсунда, роскошь цветников вокруг Растущего Замка, атмосферу старого театра за стенами театрального коридора.

Малая сцена – неудобная, узкая, обшарпанная; это, собственно, приспособленный под театр бывший кинотеатр, ни разу основательно не ремонтировавшийся со времени своего открытия в начале 40-х годов. Чтобы создать необходимое пространство и интимность, мы решили убрать первые четыре ряда кресел из партера и на пять метров надстроить сцену.

Таким образом, появилась возможность построить две комнаты – внешнюю и внутреннюю. Внешняя, ближе к зрителям, должна была стать владениями Поэта. У разноцветного окна в стиле модерн – его письменный стол, пальма, украшенная цветными лампочками, книжные полки с потайной дверью. Справа на сцене громоздится куча хлама, где главенствующее место занимает большое, несколько попорченное распятие и таинственная буфетная дверца. В углу, словно зарывшись в этот пыльный хлам, сидит за пианино «дурнушка Эдит» – актриса, способная пианистка, и сопровождает происходящее на сцене своими действиями и музыкой.

Образовавшееся благодаря надстройке переднее помещение ведет в таинственную заднюю комнату. Ребенком я часто стоял в мрачной столовой нашей квартиры и заглядывал через приоткрытые раздвижные двери в гостиную. Солнце освещало мебель и разные другие предметы, сверкало в хрустальной люстре, отбрасывало движущиеся тени на ковер. Комната плавала в зелени, как в аквариуме. Вдруг возникали люди, исчезали, возвращались вновь, замирали в неподвижности, тихо переговаривались. На окнах пламенели цветы, тикали и били часы – волшебная комната. Теперь нам предстояло воссоздать такую же в глубине сцены. Достали десять мощных проекторов, они должны проецировать изображение на пять экранов специальной конструкции. Какие конкретно картины предстанут перед зрителем, мы еще не знали, но считали, что у нас достаточно времени на размышление. Пол сцены покрыли палевым ковром, над внешней комнатой натянули того же цвета полог. И акустика Малой сцены, вообще-то совершенно непредсказуемая, стабилизировалась, стала в высшей степени чувствительной. Актеры могли говорить быстро, не напрягаясь, принцип камерной музыки был достигнут.

* * *

В 1901 году Стриндберг женится на молоденькой, необычайно красивой – несколько экзотической красотой – актрисе Драматического театра. Она на тридцать лет моложе мужа и уже знаменита. Поэт снимает пятикомнатную квартиру в только что построенном доме на Карлаплан, сам подбирает мебель, обои, картины, безделушки. Молодая жена попадает в декорации, целиком созданные ее стареющим супругом. Обе стороны, преодолевая все препятствия, с любовью, терпением и талантом играют распределенные между ними с самого начала роли. Вскоре, однако, по маскам побежали трещины, и в тщательно продуманной пасторали разыгрывается не предусмотренная никем драма. Жена в гневе покидает дом и поселяется у родственников, в шхерах. Поэт остается один в окружении величавых декораций. Разгар лета, город опустел. Поэт испытывает невыносимую боль – он и не подозревал, что такое бывает.

В «Пути в Дамаск» Неизвестный, в ответ на упреки Дамы в том, что он играет со смертью, говорит: «Так же, как я играю с жизнью, я ведь был поэтом. Несмотря на врожденную угрюмость, я никогда ничего не воспринимал всерьез, даже собственные трагедии, и порой я сомневаюсь, что жизнь более реальна, чем мои стихи».

Рана глубока, обильно кровоточит, отказывается повиноваться, как при других жизненных неурядицах. Боль проникает в самое нутро, в неизведанные бездны и дает выход прозрачным родниковым водам. Стриндберг записывает в дневнике, что он плачет, но слезы промывают взгляд, и теперь он смотрит на себя и на других со смиренной снисходительностью. Поэт воистину заговорил новым языком.

И по сей день не утихают споры, сколько успел написать Стриндберг до того, как Харриет Боссе, примирившись с беременностью, вернулась домой, в мирную идиллию. Первая половина пьесы изумительна: все понятно, прозрачно, все – мука и наслаждение, все живо, оригинально, неожиданно. Практически готовый спектакль. Кульминация поэтического вдохновения – сцена в доме Адвоката. Начало семейной жизни, разочарование в ней и распад семьи показаны ровно за двенадцать минут.

Потом драма утяжеляется: за Скамсундом следует Фагервик, вдохновение начинает хромать и спотыкаться, перед нами – словно непостижимая fuga из бетховенской сонаты для клавира, точность подменяется избытком нот. Почистишь чересчур усердно, загубишь сцены, сыграешь целиком – зритель не выдержит.

Необходимо, сохраняя хладнокровие, ввести утраченную ритмизацию. Это вполне возможно и оправданно, ибо текст по-прежнему напряженный, терпкий, забавный, поэтически выдержанный. Неожиданная сцена в школе, к примеру, просто великолепна. Что же до эпизода с несчастными отвозчиками угля, то он довольно натужен: «Игра снов» из грезы превращается в сомнительного качества эстрадный номер на злобу дня.

Самые заковыристые проблемы тем не менее еще впереди. Первая – пещера Фингала. Мы знаем, что в доме царил мир. Юная беременная жена проводила время за лепкой и чтением книг. Поэт, дабы продемонстрировать свои благие намерения, бросил курить. Супруги ходили в театр и в оперу, устраивали обеды и музыкальные вечера. «Игра снов» наливалась соком. И гут Стриндберг обнаружил, что его драма превращается в панораму человеческой жизни, направляемой нерешительной рукой рассеянного Бога. Внезапно он чувствует себя призванным в словах сформулировать ту Раздвоенность Бытия, которую уже так непринужденно отобразил в первых сценах и эпизодах пьесы. Дочь Индры берет Поэта за руку и ведет его – увы! – на край безбрежного моря к пещере Фингала. И там начинается декламация стихов, попеременно великолепных и дурных, бок о бок – красота и уродство.

Постановщик, ежели он не пал духом, дозволив Поэту вариться в его собственном, приправленном парфюмерией модернистском супе, сталкивается с почти неразрешимыми задачами. Как изобразить пещеру Фингала так, чтобы она не выглядела нелепой? Как справиться с длинным жалобным посланием богу Индре? Это ведь в основном хныканье. Как показать шторм, кораблекрушение и самое трудное – идущего по волнам Иисуса Христа? (Безмятежное и волнующее мгновение в напыщенном театральном действе.)

У меня возникла идея сделать маленький спектакль в спектакле. Поэт – с помощью ширмы, стула и старинного граммофона – оборудует некое игровое пространство. На Дочь Индры он набрасывает восточную шаль, себя увенчивает перед зеркалом терновым венцом с распятия. Протягивает несколько рукописных страничек партнерше. Они скользят от игры к серьезности, от пародии к иронии, и вновь все пошло всерьез – праздник дилетантов, великолепный театр, простые, чистые аккорды. Возвышенное остается возвышенным, отмеченное печатью времени приобретает оттенок мягкой ироничности.

Мы радовались найденному решению, преграда наконец преодолена.

Следующая сцена в театральном коридоре суха и бессодержательна, но выбросить ее нельзя. Игра с Праведниками, Тайна, скрывающаяся за дверью, духовное убийство Адвокатом Дочери – все это проходные, наспех набросанные картины, без глубины. Здесь единственно возможный путь – легкость, стремительность, угроза: Праведники, охваченные ужасом перед тем «ничто», которое они обнаружили, открыв дверь, непременно должны источать опасность.

Заключительная сцена у алтаря, несмотря ни на что, великолепна, а прощание Дочери безыскусно-трогательно. Этой картине предшествует странная вставка – Дочь Индры раскрывает Загадку Жизни. Судя по дневнику, Стриндберг, завершая работу над пьесой, читал диссертацию по индийской мифологии и философии. Плоды этого чтения он бросил в котел и

хорошенько перемешал. Но они не осели на дно и не придали новых вкусовых качеств всему блюду, а остались тем, чем были, – бесприютной индийской сказкой.

В заключительной сцене, как, впрочем, и в мажорном прологе, кроется неразрешимая, но при этом тщательно замаскированная проблема. В одном из первых эпизодов – обращенная к Отцу реплика, по всей видимости, ребенка: «Замок все время растет из земли. Видишь, насколько он вырос с прошлого года?» В последнем монологе постаревший Поэт устами Дочери восклицает: «Теперь я чувствую всю боль бытия, так вот каково быть человеком». В начале ребенок, в конце – старик, а в промежутке – целая человеческая жизнь. Я разделил роль Дочери Индры между тремя актрисами, что дало неплохие результаты. Начало заиграло, конец стал логичным. Даже Загадка Жизни в искреннем, проникнутом жизненным опытом исполнении большой актрисы зазвучала как трогательная сказка. Дочь обрела – в своей взрослой жизни – силу, любопытство, жизнелюбие, радость, прихотливость, трагизм.

Ни одна постановка не давалась мне с таким трудом, не требовала столько времени. Необходимо было стереть из памяти все прежние свои попытки и в то же время с водой не выплеснуть и ребенка. Те находки, которые органично вливались в новую концепцию, следовало сохранить, но при этом произвести строгий отбор, следуя суровому совету Фолкнера – «Kill your Darlings»⁴. И если завершающий этап работы над «Фрекен Жюли» был увлекательной игрой, то сценическое воплощение «Игры снов» превращалось в тягостную борьбу.

Впервые я воспринимал старость как врага. Воображение бастовало, принятие решений затягивалось, я ощущал непривычную скованность. Недостижимое так и оставалось недостижимым, душило меня. Не раз я был готов сложить оружие – редко возникающее у меня желание.

Репетиции начались во вторник 4 февраля сбором труппы. Мы обсудили конкретные детали, технические решения, составили план работы. Еще раньше мы договорились, что текст надо будет выучить как можно быстрее. Обычная канитель, когда у актера практически парализована одна рука из-за зажатой в ней тетрадки, – пройденный этап; эту методику ввел Ларс Хансон, ненавидевший процесс заучивания роли. Ленивые актеры охотно пользовались его евангелием под тем расплывчатым предлогом, что текст, мол, должен усваиваться естественным путем в ходе репетиций. В результате, как правило, получалась неразбериха, один знал роль, другой – нет; взгляды, жесты, чувство партнера – все это напоминало лоскутное одеяло.

Основная задача артиста, как известно, настроиться на партнера: «Без *тебя* нет и *меня*», – сказал один умный человек.

Читаю свои дневниковые записи, относящиеся к работе над «Игрой снов», – чтение, отнюдь не располагающее к веселью. Я в плохом состоянии. Неспокоен, переутомлен, пребываю в дурном настроении, болит правое бедро, боль не отпускает ни на минуту, утренние часы – самые тяжелые. Желудок протестует спазмами и поносами. Омерзение влажной тряпкой обволакивает душу.

По мне, однако, ничего не видно. Позволить личным проблемам взять верх во время работы – служебное преступление.

Я обязан во что бы то ни стало сохранять ровное, деятельное настроение. А вот то творческое вождение, для которого и определения-то не существует, волевым усилием не вызовешь. Остается опираться на тщательную подготовку и надеяться на лучшие времена.

Примерно за месяц до начала репетиций Лена Улин, назначенная на роль Дочери Индры, просит меня уделить ей время для разговора. Она заразилась свирепствующим в театре плодородием. Ко дню премьеры будет, «вероятно», в начале пятого месяца, родить должна в августе, запланированные на осень гастроли исключены, весной следующего года «Игру снов», требу-

⁴ Убивайте своих возлюбленных (англ.).

ющую большого ансамбля, все равно снимут с репертуара. Значит, в лучшем случае мы сыграем всего сорок спектаклей.

Ситуация немного комическая. В моей телевизионной пьесе «После репетиции» рассказывается о встрече молодой актрисы (роль исполняет Лена Улин), которая должна играть Дочь Индры, со старым режиссером, который в четвертый раз ставит «Игру снов». Актриса говорит, что она беременна. Режиссер, затеявший постановку ради того, чтобы поработать с актрисой, выходит из себя. В конце концов актриса признается, что уже сделала аборт.

Лена Улин не собирается делать аборт. Она – сильная, красивая, полная жизни женщина, крайне эмоциональная, порой безалаберная, с уравновешенным, по-крестьянски цепким умом. Она радуется предстоящему рождению ребенка, сознает все связанные с этим трудности, но считает, что если заводить ребенка, то именно сейчас, когда ее карьера уверенно пошла вверх.

Ситуация, как я уже сказал, немного комическая, то есть комическая для режиссера. Будущая молодая мать не может быть смешной, она прекрасна, достойна всяческого уважения и притом ради ребенка отказывается от карьеры.

Чувства в большинстве случаев неуправляемы: я все-таки мысленно обвиняю ее в предательстве. Так называемая действительность внесла свои коррективы и в мечты, и в планы. Но мое ожесточение почти сразу проходит – что это еще за нытье? Для будущего наши театральные упражнения довольно безразличны, рождение же ребенка придает ему хотя бы иллюзорный оттенок смысла. Лена радовалась. Я радовался ее радости.

Репетиционные неприятности не имели ничего или почти ничего общего с вышеописанными событиями. Недели шли. Результаты были по-прежнему средние. К тому же что-то произошло с Марик Вое, нашим сценографом, – то ли временный провал в памяти, то ли дало себя знать перенапряжение. Вот уже много лет мужское пошивочное ателье Драматического театра было «укомплектовано» неумелой бестолочью. Марик тихо и упорно боролась с их глупостью, ленью и чванливостью, ни одна вещь не соответствовала эскизам, ничего не было готово. Все это привело к тому, что Марик забыла о диапозитивах. Их подбор она поручила одной молодой особе, для которой – по причине ее общей некомпетентности – не нашлось другой работы. Та горячо взялась за дело и заказала фотографий на десятки тысяч крон, на что никто не обратил внимания. Наконец молчание вокруг диапозитивов показалось мне подозрительным, и я начал разбираться в этом деле. Оказалось, в нашем распоряжении замечательные новые проекционные аппараты и ни одного диапозитива. Катастрофа казалась неминуемой, но нам повезло: нашелся молодой, знавший дело фотограф, горевший желанием помочь; дни и ночи напролет он подбирал мотивы и решал возникавшие технические проблемы. Последние диапозитивы были готовы к генеральной репетиции.

В пятницу 14 марта состоялся первый прогон, спектакль игрался без остановок и повторов. В дневнике я записал: «Не прогон, а насмешка. Сiju и глазею. Ни малейшего соперничества. Абсолютно бесстрастен. Ну да ладно, время еще есть». (Премьера была запланирована на 17 апреля, в 79-ю годовщину первой премьеры.)

В воскресенье мы с Эрландом сидим у меня в кабинете в театре и разговариваем о Себастьяне Бахе. Маэстро вернулся домой после длительного путешествия, за время его отсутствия умерли жена и двое детей. В его дневнике появляется запись: «Господи всеблагой, не дай мне потерять радость».

Всю свою сознательную жизнь я прожил с тем чувством, которое Бах называл радостью. Оно спасало меня в критические моменты и в несчастьях, было мне столь же надежной опорой, как и мое сердце. Порой подавляло, причиняло неудобства, но никогда не бывало враждебной, разрушительной силой. Бах называл это состояние радостью, Божьей радостью. *Господи всеблагой, не дай мне потерять радость.*

Внезапно я слышу, как говорю Эрланду: «Я теряю радость. Ощущаю это физически. Она ускользает от меня, оставляя после себя болезненную пустоту и влажную оболочку, которая скоро усохнет и исчезнет».

Я заплакал и испугался, потому что давно отвык плакать. В детстве я часто и охотно пускал слезу. Мать, раскусив мою хитрость, стала меня наказывать. Я перестал плакать. Иногда из глубины, со дна колодца до меня доносится безумный вой, всего лишь эхо, он настигает без предупреждения. Безудержно рыдающий ребенок, вечный узник.

В тот сумеречный день в моем кабинете взрыв произошел неожиданно. Меня залила черная жгучая тоска.

Несколько лет назад я навестил своего друга, умиравшего от рака. Разъедаемый изнутри болезнью, он превратился в сморщенного гнома с огромными глазами и колоссальными желтыми зубами. Он лежал на боку, подключенный ко множеству аппаратов, прижимал левую ладонь к лицу и шевелил пальцами. Губы его растянулись в жуткой улыбке, и он проговорил: «Глядя, я еще могу шевелить пальцами, все-таки какое-то развлечение».

Надо приспособиться, сократить линию фронта, битва все равно проиграна, ничего другого ждать не приходится, хотя я и жил в жизнерадостном заблуждении, что Бергману, мол, не грозит разрушение. «Неужели нет никаких скидок, никаких льгот для артистов?» – спрашивает актер Скот в «Седьмой печати», цепляясь за крону Дерева жизни. «Нет никаких льгот для артистов», – отвечает Смерть и начинает пилить ствол.

В ночь на понедельник у меня поднялась температура. Тело сотрясает лихорадка, пот течет ручьями, каждый нерв бурно протестует. Ощущение необычное. Я почти не болею, иногда плохо себя чувствую, но никогда не бываю болен настолько, чтобы отменить репетицию или съемку.

Десять дней я валяюсь с высокой температурой, даже читать не в силах, лежу и дремлю. Когда же наконец пытаюсь встать с кровати, не могу удержаться на ногах – я так тяжело болен, что это даже интересно. Дремлю, засыпаю, просыпаюсь, кашляю, сморкаюсь. Грипп хозяйничает неутомимо и покидает меня с неохотой: температура скачет. У меня появился шанс – если бросать работу над спектаклем, более подходящего случая не придумаешь.

Мы сделали видеозапись злополучного прогона. Я прокручиваю ее вновь и вновь, отмечаю слабости, анализирую недостатки. Возможность отказаться от постановки дала мне мужество продолжать. Бессмысленность не стала менее бессмысленной, нежелание не превратилось в желание, но меня охватила вырабатывающая адреналин ярость. Я еще не умер.

Решаю начать репетицию 1 апреля, независимо от моего состояния. Накануне ночью – повторный приступ болезни с высокой температурой и желудочными спазмами. Тем не менее работа идет нормально, я бракую целые куски и делаю их заново. Актеры отвечают дружеским энтузиазмом. Бессонные ночи заполнены тревогой и физическими недомоганиями, грипп оставил после себя незнакомую мне депрессию, живущую самостоятельной ядовитой жизнью в моем теле.

В среду 9 апреля – последняя репетиция в репетиционном зале. Я записал: «Опасения оправдываются и усиливаются. Идти дальше еще решительнее. Печален, но отнюдь не сломлен».

И вот мы переместились в тесноту и неудобства Малой сцены. Расстояние и резкий рабочий свет безжалостно выявили все неровности спектакля. Исправляем, изменяем. Установка света, грим, костюмы. С таким трудом собранный дом разваливается, все скрипит, трещит, сопротивляется.

Мир сотрясается и рушится, неужто мне и впрямь придется нацепить эту бороду! Если я надену эти брюки поверх других, не успею переодеться, здесь нужна липучка, ты перебрал с белилами. Убийца Пальме все еще на свободе, снегоразбрасыватель неисправен, снег получается комковатый, навеска неудачна, почему у левого софита свет теплее, чем у других, зеркало

никуда не годится, производственный брак, в Швеции нет хороших зеркал, надо заказать в Австрии, уличные беспорядки в Южной Африке, четырнадцать человек убито, много раненых, почему шумят вентиляторы, они должны работать бесшумно, вентиляция отвратительная, в середине зала – ледяной сквозняк, почему до сих пор нет ботинок, сапожник болен, мы заказали их в городской мастерской, думаю, в пятницу получим. Можно, я сегодня буду говорить потише, болит горло, нет, температуры нет, в «Ревизоре» я не играю, но у меня выступление по радио. Оставайся там, где стоишь, сделай два шага вправо, хорошо, чувствуешь теперь эту лампу?

Терпение и спокойствие, не ругаться, а смеяться. Так дело идет быстрее, но все равно мучительно. Теперь вот это место, нет, ничего не меняем, по-прежнему никакого отзвука, я ведь вижу, как его трясет словно в судорогах, я в чем-то ошибся? Может, надо было по-другому выстроить мизансцену? Нет, не поможет. Он страстно хочет, изо всех сил колотит в стены тюрьмы, есть же какой-то выход?

Мир сотрясается и рушится, мы – хлопотливо и чуть возбужденно – жужжим в толстых стенах Дома, маленьком мирке тревожного беспорядка, прилежания, нежности и таланта. Мы ведь только на это и способны.

Наутро после убийства Улофа Пальме мы собрались в холле репетиционного зала. Приступить к работе казалось невыносимым.

Переговаривались – неуверенно, подыскивая слова, пытаюсь нащупать контакт, кое-кто плакал. Диковинным выглядит наше ремесло, когда в него врывается реальная жизнь, не оставляя камня на камне от наших иллюзорных забав. В дни оккупации Норвегии и Дании Германией мой любительский театр должен был играть «Макбета» в актовом зале школы на Свеаплан. Мы соорудили временную сцену и трудились над спектаклем целый год. В те дни в школе расквартировали воинскую часть, большинство из нас были призваны в армию. Но по какой-то необъяснимой причине нам разрешили сыграть наш спектакль. В школьном дворе были установлены зенитки, полы в коридорах и классах устланы соломой, кругом кишели облаченные с грехом пополам в военную форму солдаты. Светомаскировка.

Я исполнял роль короля Дункана, парик не налезал, я выкрасил волосы в белый цвет жирным гримом и приклеил бороду – никогда ни один Дункан не был так похож на козла. Леди репетировала всегда в очках и потому сейчас то и дело спотыкалась и наступала на подол платья. Макбет фехтовал, как никогда, энергично (мечи мы достали в последнюю минуту) и так хватил по голове Макдуфа, что у того брызнула кровь – после представления его увезли в больницу.

А теперь вот – убийство Улофа Пальме. Как справиться с охватившей нас растерянностью? Отменить репетицию, отменить вечерний спектакль? Об «Игре снов» придется забыть навсегда. Нельзя же, в самом деле, сейчас играть пьесу, в которой героиня беспрерывно повторяет: «Как жалко людей». Невыносимо устаревшее произведение искусства, прекрасное, но далекое, возможно, уже мертвое.

И тут одна из молодых актрис говорит: «Может, я ошибаюсь, но мне кажется, надо репетировать, надо играть. Тот, кто убил Пальме, хочет, чтобы наступил хаос. Если мы отменим репетицию и спектакль, мы лишь поможем возникновению хаоса, позволим чувствам взять верх. Сейчас главное – не чьи-то личные временные эмоции, а нечто иное. Нельзя допустить хаос».

Медленно, неуверенно «Игра снов» превращалась в спектакль. Мы репетировали в присутствии публики. Иногда зрители были внимательны и увлечены, иногда молчаливы и безразличны. Робкий оптимизм окрасил наши щеки. Коллеги хвалили, мы получали письма и ободряющие отклики.

Последняя неделя репетиций для режиссера почти невыносима. Стимул дальнейших усилий утрачен, от тоски нечем дышать, изъяны бьют в глаза, мозг и чувства, точно плотным туманом, заволокло холодным влажным равнодушием.

Сон из рук вон: крутится бесконечная карусель неурядиц, интонаций, жестов, перед глазами застыли, словно неподвижные, слайды, неудачные световые моменты. Полюбуйся-ка! Ночь длинна и тосклива. Недостаток сна меня не смущает – изматывают переживания: в чем основная ошибка? Может быть, она заложена в самом тексте – в разрыве между гениальными находками и душеспасительными теориями, между суровой красотой и приторным лепетом? Но ведь именно это противоречие, черт бы меня побрал, я и хотел отобразить! Может, игристая пародийность сцены в пещере Фингала кощунственна? Над Титаном нельзя смеяться, даже если смеешься с любовью? Не забыть направить 36-й софит на кровать в комнате Адвоката, а в целом свет в этой сцене удачный, всего несколько ламп – и создано нужное настроение. Свен Нюквист был бы мною доволен. На меня уставились короны, пасущиеся на чудосочном лугу возле кузницы, тучи мух вьются над их мордами, лезут в глаза, малорослая пестрая корова с острыми рогами считается злокой. Вот идет Хельга, блузка на пышной груди повлажнела, от нее резко пахнет потом и молоком, она смеется, обнажая крупные белые зубы с дырой посередине – дело рук Брюнольфа. В ответ Хельга спустилась на берег реки и потопила его плоскодонку, потом открыла банку анчоусов и спряталась за дверь. Когда Брюнольф пришел на обед, она вдавила банку в лицо законного супруга, вдавила и повернула. Брюнольф задумался. Заново обретая способность видеть, он нахлобучил на голову шляпу с круглой тульей и отправился пешком в Борленге – по лбу и щекам течет кровь, в бороде застряли анчоусы. Он зашел к фотографу Хультгрону и потребовал, чтобы тот сфотографировал его прямо в таком виде – в заляпанном комбинезоне, в шляпе, с раскровавленным носом и свисающими со щек и подбородка анчоусами. Что и было исполнено. Эту фотографию Хельга получила на день рождения. Все, я сплю... и звонит будильник.

Лежу не шевелясь, голова ясная, в душе страх: я способен убить всякого, кто скажет хоть одно дурное слово о моих актерах. Подошел день генеральной репетиции, настало время расставаться. Послезавтра они прочтут газеты, уверяя, что и не думали читать. А уж там их освежают, намнут бока, похлопают по плечу, превознесут, отчитают, смешают с грязью или вовсе обойдут молчанием. А вечером того же дня им выходить на сцену. И они будут знать, что зрители знают.

Много лет тому назад я видел, как один мой друг стоял в углу за кулисами, одетый и загримированный. Нижняя губа была сжевана до крови, кровь стекала тоненькой струйкой по подбородку, в уголке рта выступила пена. Он тряс головой – не выйду, не выйду. И вышел.

Генеральная репетиция – вечером 24 апреля. Днем у нас сбор труппы, посвященный «Гамлету». За столом множество народу составляет план работы над спектаклем, премьеры которого состоится 19 декабря. Я рассказываю им свой замысел: пустая сцена, возможно, два стула, но не уверен. Неподвижный свет, никаких цветных светофильтров, никакого искусственного настроения. К полу, в непосредственной близости к зрителям, приварен круг радиусом пять метров. На нем и разыгрывается действие. Фортинбрас со своими людьми ломает дверь в задней стене сцены, выходящей на Альмлёфсгатан, ветер задувает на сцену снег, трупы сбрасывают в могилу Офелии, Гамлету воздают почести в презрительно-формальных выражениях, Горацио убивают из-за угла.

В глубине души я взбешен и испытываю желание отказаться от постановки. Несколько месяцев назад я попросил на роль Могильщика Ингвара Чельсона. Сам Чельсон ответил согласием. А потом за моей спиной он берет – или ему дают – роль побольше в другом спектакле. Другой, совсем юный актер, у которого еще молоко на губах не обсохло, заявляет, что собирается взять длительный отпуск по уходу за новорожденным ребенком. Третьего у меня забрали по ультимативному требованию приглашенного режиссера. Бесхребетный, но одаренный пар-

нишка не хочет играть Гильденстерна. Молодым, делающим карьеру актерам ненавистна мысль о том, что им придется стоять на сцене рядом с Гамлетом – их ровесником, а то и еще моложе. У них начинаются конвульсии, психосоматические расстройства, они даже вспоминают о своих новорожденных сыновьях. Да и, кроме того, быть в дружеских отношениях с Бергманом уже не так важно, он ведь перестал снимать фильмы.

В то же время я все понимаю, ну разумеется, я все прекрасно понимаю, я вообще понятливый: для артиста своя рубашка ближе к телу, он изворачивается и лавирует, размышляет и взвешивает. Я все понимаю и тем не менее взбешен. Помню, как Альф Шёберг собирался меня вздуть, когда я переманил Маргарету Бюстрём из его спектакля «Альцест». Ситуация аналогичная. На похоронах Шёберга член правления театра повернулся к одному актеру, представлявшему труппу, и сказал: «Поздравляю, теперь у вас в Драматене одной режиссерской проблемой меньше». Помню, как мне пришлось уволить Улофа Муландера. Дай мне, Господи, благоразумия уйти вовремя. Когда наступит это «вовремя»? Может, уже наступило?

В четверг 24 апреля в семь вечера (во всех газетах объявлено, что опоздавшие к началу в зал не допускаются) – наконец-то генеральная! Актеры чувствуют легкое дуновение успеха, они бодро-беспечно и возбуждены. Я стараюсь разделить их радостные ожидания. Где-то в подсознании я уже отметил провал, и дело вовсе не в том, что я недоволен постановкой – напротив. После всех мытарств – на сцене первоклассный, продуманный и, для наших условий, хорошо сыгранный спектакль. Ни малейшего повода для самобичевания.

И все-таки я уже знаю – наши усилия напрасны.

Спектакль начинается. Звучит до-мажорный сигнал, и я покидаю Малую сцену вместе с директором театра. Только мы выходим на улицу через заднюю дверь, как нас мгновенно тесным кольцом окружают фотокорреспонденты, ослепляя вспышками. Загорелый Кто-то трогает меня за плечо и говорит, что я обязан его впустить, он опоздал на десять минут, не имеет возможности посмотреть спектакль в другой раз, пытался уговорить билетеров, но они, как им и было приказано, оставались непреклонны. Я едко отвечаю нахалу, что у меня нет ни возможности, ни желания помочь ему – сам виноват. После чего узнаю в нем редактора отдела культуры «Свенска дагбладет», который к тому же театральный критик. Я добавляю с натянутой улыбкой – мол, он должен понимать и отнестись с уважением к нашим правилам. Одновременно у меня возникает непреодолимое искушение наброситься на него с кулаками – он, считающий себя профессионалом, позволяет себе опаздывать! И к тому же настолько бестактен, что требует от режиссера сегодняшнего спектакля впустить его. Критик удаляется. Директор театра, предчувствуя длительное преследование на культурной странице «Свенска дагбладет», бежит за рассерженным редактором и проводит его в зал.

Этот незначительный эпизод окончательно убедил меня в безнадежном исходе. Язва и бегство первого сценографа, беременность Лены Улин, вынужденные решения, неудачный прогон в середине репетиционного периода, мой грипп с последующей депрессией, технические незадачи, распределение ролей в «Гамлете», оскорбленный редактор отдела культуры и вдобавок убийство Пальме – событие, из-за которого наша работа предстанет, временно или навсегда, в совершенно ином свете. Все это вместе взятое – как большое, так и малое – привело к ясному осознанию ситуации: я знал, что будет дальше.

После генеральной мы собрались в одном из новых репетиционных залов над Малой сценой. Пили шампанское, закусывая бутербродами. Настроение приподнятое, но с налетом грусти. Трудно расставаться после длительного и тесного общения. Я испытываю бессильную нежность ко всем этим людям. Пуповина перерезана, а тело еще корчится от боли. Обсуждаем фильм Вайды «Дирижер», где он доказывает, что музыка немыслима без любви. В едином порыве мы признаем, что театр без любви в принципе возможен, но это – мертвый театр, он не способен жить и дышать. Без любви нельзя. *Без тебя нет меня.* Конечно, мы видели блестя-

щие постановки, выросшие из вакхической ненависти, но ненависть ведь тоже прикосновение, любовь и ненависть одинаково пронизательны. И мы, подумав, приводим примеры.

Горят, мерцают на столе свечи, капает стеарин. Время расставаться. Объятия и поцелуи, словно прощаемся навсегда. Черт побери, завтра же снова встретимся, говорим мы и смеемся. Завтра премьеры.

Впервые за всю свою профессиональную жизнь я переживал неудачу дольше сорока восьми часов. Обычно можно утешаться аншлагами. Посещаемость сорока спектаклей на Малой сцене была неплохая, но недостаточная. Бессмысленность скалит зубы! Столько усилий, боли, волнений, тоски, надежд – и все напрасно. Без всякой пользы.

V

Дача в Даларна называлась Воромс, на диалекте Орса это значит «наша». Я попал туда в первый месяц своей жизни, но в воспоминаниях живу там до сих пор. Вечное лето, шумит огромная раздвоенная береза, дрожит от жары воздух над горной грядой, на террасе двигаются люди в легких светлых одеждах, окна распахнуты настежь, кто-то играет на рояле, катится крокетный шар, вдалеке на станции Дуфнэс гудит товарняк, переходя на другой путь, река отливает таинственной чернотой даже в самые светлые дни, плывут по течению бревна, то неспешно, то быстро крутятся в воде, пахнут ландышами, муравейниками и телячьим жарким. Коленки и локти у детей в ссадинах, мы купаемся в реке или в Черном озере и рано овладеваем искусством плавания, поскольку и там и тут – резко уходящее вниз глинистое дно и неожиданная бездонная глубина.

Мать наняла няню – девушку из местных. Ее звали Линнеа, она была милая, немного молчаливая, но добрая и привыкла ухаживать за малышами. Мне было шесть лет, и я обожал ее веселую улыбку, белую кожу и пышные рыжеватые волосы. Я слушался любого ее слова и нанизывал на соломинку ягоды земляники, стараясь ей угодить. Она прекрасно плавала и научила плавать меня. Когда мы с ней купались вдвоем, без свидетелей, она не надевала свой черный несуразный купальник, что я очень ценил. Она была высокая, худая, с широкими веснушчатými плечами, маленькой грудью и огненно-рыжими волосами на лобке. Никогда я столько не купался, как в то лето, – вылезал из воды, стуча зубами, с синими губами, и мы грелись, сидя в палатке, которую Линнеа мастерила из купальной простыни.

Как-то сентябрьским вечером, незадолго до нашего отъезда в Стокгольм, я зашел на кухню. Линнеа сидела за кухонным столом, не зажигая керосиновой лампы. Перед ней стояла чашка кофе. Поддерживая ладонью голову, она рыдала – судорожно, но беззвучно. Я перепугался, бросился ей на шею, но она оттолкнула меня. Такого раньше никогда не случалось, и я тоже заплакал – мне уже и до того было грустно. Мне хотелось, чтобы она перестала плакать и утешила меня. Но она этого не сделала. Она не обращала на меня внимания.

Через несколько дней мы уехали из Воромса в Стокгольм. Линнеа с нами не поехала. Я спросил маму, почему Линнеа не едет с нами, как в прежние годы. Ответ был уклончивый.

* * *

Сорок лет спустя я поинтересовался у матери, что произошло с Линнеа. Я узнал, что девушка забеременела, отец ребенка отрицал свое отцовство. А так как семья пастора не могла держать беременную прислугу, отец был вынужден ее рассчитать, невзирая на горячие протесты матери. Бабушка собиралась вмешаться и помочь девушке, но та исчезла. Через два-три месяца ее нашли у железнодорожного моста с разможенным черепом. Полиция пришла к выводу, что она разбилась, бросившись с моста.

* * *

Железнодорожная станция Дуфнэс состояла из красного станционного домика с белыми угловыми венцами, уборной, на которой было написано «Мужчины» и «Женщины», двух семафоров, двух стрелок, товарного склада, каменного перрона и погребя, на крыше которого росла земляника. Главная колея, огибая гору Юрму, проходила мимо Воромса, видимого со станции. В двухстах – трехстах метрах к югу мощной дугой шла излучина реки, опасное место – оно называлось Гродан, – с глубокими водоворотами и острыми выступающими камнями. Над

излучиной вздымался железнодорожный мост с узкой пешеходной дорожкой с правой стороны. Ходить по мосту было запрещено. Но никто не обращал внимания на запрет, потому что это был самый короткий путь к богатому рыбой Черному озеру.

Начальника станции звали Эрикссон. Уже двадцать лет он жил в станционном домике со своей женой, страдавшей базедовой болезнью, а в деревне его все еще считали новоселом и потому относились с подозрением. Дядю Эрикссона окружало множество тайн.

Бабушка позволяла мне ходить на станцию. И хотя у дяди Эрикссона разрешения не спрашивали, он обращался со мной рассеянно-дружелюбно. В конторе у него пахло трубочным табаком, на окнах жужжали сонные мухи, время от времени стучал телеграфный аппарат, выпуская из себя узкую ленту, испещренную точками и тире. Дядя Эрикссон сидел, склонившись над столом, и что-то писал в черных тетрадах или сортировал накладные.

Иногда кто-нибудь в зале ожидания колотил в окошко и покупал билет до Репбеккен, Иншён или Борленге. Царивший покой был как сама вечность и уж наверняка достоин того же уважения. Я не нарушал его ненужной болтовней.

Но вот все-таки звонит телефон, короткое сообщение: поезд из Крюльбу вышел на Лэнхеден, дядя Эрикссон что-то бормочет в ответ, надевает форменную фуражку, берет красный флажок, взбирается на пригорок и поднимает южный семафор. Кругом ни души. Палящее солнце накаляет стену склада и рельсы, пахнет смолой и железом. Вдалеке у моста журчит река, горячий воздух дрожит над замасленными шпалами, блестят камни. Тишина и ожидание, изуродованная кошка дяди Эрикссона устроилась на дрезине.

От изгиба дороги перед Длинным озером просигналил паровоз, вдали черным пятном на сплошном зеленом фоне показался поезд, сперва почти беззвучно, гул быстро нарастает, поезд уже пересекает реку, гул усиливается, заскрежетала стрелка, содрогается земля, паровоз мчится мимо перрона, ритмично выпуская из трубы клубы дыма, свистит ветер, стучат на стыках колеса, земля ходит ходуном. Дядя Эрикссон отдает честь машинисту, тот отвечает на приветствие. Через мгновение гул затихает, поезд уже огибает Воромс, вот он скрылся в горе, вот вскрикнул у лесопильни. И опять воцаряется тишина. Дядя Эрикссон крутит ручку телефона и говорит: «Из Дуфнэса два тридцать три». Тишина полнейшая, даже мухи не осмеливаются жужжать на стекле. Дядя Эрикссон удаляется на второй этаж обедать и вздремнуть до того, как прибудет идущий на юг товарный – где-то между четырьмя и пятью. Этот товарный не отличался точностью, ибо почти на каждой станции заменял вагоны.

* * *

Неподалеку от станции стоит кузница. Ее владелец похож на монгольского хана. Он женат на все еще красивой, но сильно потрепанной жизнью женщине по имени Хельга. Они со всеми своими многочисленными детьми ютятся в двух комнатухах над кузней. Там – беспорядок и доброжелательность. Мы с братом охотно играем с детьми кузнеца. Хельга кормит грудью младшенького. После того как малыш насытился, она зовет другого сына, моего ровесника: «Йонте, иди сюда, попей». Я с завистью в сердце смотрю, как мой друг становится между материнскими коленями, она протягивает ему свою тяжелую грудь, он наклоняется и начинает жадно сосать. Я спрашиваю, можно ли мне тоже попробовать, но Хельга, смеясь, говорит, что мне надо сначала попросить разрешения у фру Окерблум, то есть у бабушки. Я со стыдом сознаю, что переступил границы одного из этих непонятных правил, которые всё в большем количестве скапливаются на моем пути.

* * *

Моментальные фотографии! Лежу в кровати с высокими спинками, вечер, горит ночник. Я сладострастно мну в руках колбаску – она мягкая, принимает любую форму, вкусно пахнет. Неожиданно я бросаю ее на пол и громко и настойчиво зову Линнеа, няньку. Дверь открывается, входит отец – большая, черная фигура, охваченная светом, льющимся из холла. Он показывает на колбаску и спрашивает, что это такое. Я поднимаю на него глаза, сердце готово выскочить из груди, и говорю, что, по-моему, там ничего нет. Следующая сцена: получив хороший шлепок, я реву, сидя на горшке посередине комнаты. Горит верхний свет, Линнеа сердито перестилает мою постель.

Тайны. Внезапные мгновения тишины. Неясные физические недомогания. Это и есть муки совести? – как спрашивает Дочь Индры в «Игре снов». «Что я сделал?» – спрашиваю я в ужасе. «Ты знаешь сам», – отвечает Властьпредержащая. Конечно, я согрешил, всегда существует какой-нибудь необнаруженный проступок, грызущий душу. Подглядывали около отхожих мест. Стащили изюм из шкафчика со специями. Купались совсем рядом с водоворотами у железнодорожного моста. Украли мелочь из отцовского пальто. Осквернили имя Божие, заманив его на дьявола благословляющего: дьявол, благослови нас и спаси нашу душу, дьявол, обрати к нам свой лик и трахни нас. «Мы» – это мой брат и я, временами объединявшиеся для совместных акций, но чаще разделенные едкой ненавистью. Даг считал, что я врал, выворачивался и избегал наказания. К тому же еще и избалован, ибо был любимчиком отца. Я же полагал, что брат, который был на четыре года старше, пользуется несправедливыми преимуществами: его не загоняли в постель так рано, он ходил на фильмы, на которые не пускали детей, и мог вздуть меня когда вздумается. А то, что он постоянно вызывал ревнивое неудовольствие отца, я осознал значительно позже.

Ненависть между братьями чуть было не привела к братоубийству. Даг дал мне хорошую взбучку, я решил отомстить. Чего бы это ни стоило!

Взяв в руки тяжелый стеклянный графин, я взобрался на стул, спрятавшись за дверью нашей с ним общей комнаты в Воромсе. Когда брат открыл дверь, я со всей силой ударил его по голове. Графин разлетелся на мелкие кусочки, брат упал, кровь хлестала из зияющей раны. Месяц или два спустя он набросился на меня без всякого предупреждения и выбил два передних зуба. В ответ я поджег его кровать, когда он спал. Огонь погас сам по себе, враждебные действия временно приостановились.

* * *

Летом 1984 года мой брат со своей женой-гречанкой приехали погостить к нам на Форё. Ему было шестьдесят девять лет, он был генеральный консул в отставке. Несмотря на тяжелый паралич, он до конца неустанно выполнял свои служебные обязанности. Теперь он мог лишь двигать головой, прерывисто дышал, говорил неразборчиво. Мы проводили время в воспоминаниях о нашем детстве.

Он помнил гораздо больше меня, рассказывал о своей ненависти к отцу и сильной привязанности к матери. Для него они по-прежнему оставались родителями, мифическими существами, прихотливыми, труднодоступными, которых он явно переоценивал. Мы ощупью пробирались по заросшим тропинкам, ошарашенно глядя друг на друга: непреодолимое расстояние разделяло двух пожилых людей, вышедших из одного чрева. Наша взаимная антипатия испарилась, оставив после себя пустоту, где не было места контакту, общности. Брат хотел смерти и в то же время боялся умереть, бешеное желание жить заставляло работать его легкие

и сердце. Кроме того, как он обронил, покончить с собой не было возможности, ибо руки у него парализованы.

Сильный, дерзкий, умный человек, любивший рисковать, не уклонявшийся от военных опасностей, умевший наслаждаться жизнью, рыбак, обожавший лесные прогулки, бесцеремонный, эгоистичный, обладавший чувством юмора. Всегда заискивавший перед отцом, несмотря на ненависть. Привязанный к матери, несмотря на все попытки вырваться на свободу и мучительные конфликты.

Мне понятна болезнь брата – он парализован яростью, парализован двумя подавляющими его сумеречными фигурами, удушающими, неуловимыми, – отцом и матерью. Может, следует добавить, что он питал полнейшее презрение к искусству, психоанализу, религии и вообще к духовности. Он был насквозь рациональным человеком, знал семь языков, из книг предпочитал исторические сочинения и биографии политических деятелей. И еще он диктовал на магнитофон свои мемуары. Я отдал перепечатать этот материал. Получилось восемьсот страниц, выдержанных в сухом, ироничном, академическом тоне. Правда, за несколькими исключениями. Просто и прямо рассказывает он о жене, есть страницы, посвященные матери. В остальном же – поверхностность, сарказм, лицемерное безразличие: жизнь как неинтересное приключение. На этих восьмистах страницах нет ни строчки о болезни, он никогда не жаловался, но свою судьбу презирал. Боли, физическое унижение переносил со злобным нетерпением и приложил максимум стараний быть настолько неприятным, чтобы никому и в голову не пришло выразить ему свое сочувствие.

Свое семидесятилетие он отпраздновал в посольстве в Афинах. Он был очень слаб, жена считала, что надо отменить празднество. Он отказался и произнес блестящую речь в честь гостей. Вскоре его увезли в больницу, где применили неправильное лечение, и он умер после нескольких затяжных приступов удушья. Он был все время в сознании, но говорить не мог, потому что ему сделали свищ в горле. И умер в ярости от своей немоты, от невозможности высказаться.

* * *

С моей младшей сестрой, Маргаретой, мы жили довольно дружно. И хотя она была на четыре года моложе, я охотно играл с ней в куклы, разыгрывая сложные представления в ее кукольном шкафу. На фотографии из семейного альбома я вижу крохотное кругленькое существо с белесыми волосами и расширенными от ужаса глазами. Она была сама чувствительность – от нежного рта до нерешительных рук. Родители – и отец и мать – ее обожали, и она пыталась быть достойной этой любви, пыталась быть тем ласковым, нежным ребенком, который вознаградил бы их за мучения с обоими трудноуправляемыми сыновьями.

Мои детские воспоминания о Маргарете бледны и расплывчаты. Мы построили кукольный театр, она сшила костюмы, я нарисовал декорации. Мать – терпеливая и заинтересованная зрительница – подарила нам красивый вышитый бархатный занавес. Мы играли мирно и тихо, я чувствовал себя намного лучше в ее обществе, чем в обществе брата. Не думаю, чтобы мы когда-нибудь с ней дрались или ругались.

Одно лето, когда мне было одиннадцать лет, а сестре – семь, мы проводили в Лонгэнген, недалеко от Стокгольма. Матери сделали тяжелую операцию, и она уже несколько месяцев лежала в больнице Софияхеммет. Отец пожелал, чтобы мы находились поблизости, поэтому на время наняли кроткую домоправительницу, которая, вообще-то, была учительницей младших классов. Мы с сестрой по большей части были предоставлены сами себе. Помимо виллы, в усадьбе имелась также старая купальня, клонившаяся к воде. Купальня состояла из раздевалки и бассейна без крыши. Там мы пропадали часами, играя в наши слегка приправленные

чувством греха игры. Неожиданно, без объяснений или допросов, нам запретили ходить одним в купальню.

Маргарету все больше стали затягивать ее отношения с родителями, и мы отдалились друг от друга. В девятнадцать лет я сбежал из дома. С тех пор мы практически не встречались. Маргарета утверждает, будто она однажды показала мне какое-то свое сочинение, которое я по юношескому недомыслию раскритиковал в пух и прах. Сам я этого не помню. Теперь она время от времени пишет книги. Если я правильно понимаю ее произведения, жизнь ее, очевидно, была адом. Иногда мы говорим с ней по телефону, как-то неожиданно встретились на концерте. Ее измученное лицо и странный бесцветный голос напугали меня и привели в дурное расположение духа.

* * *

Порой у меня появляются мимолетные угрызения совести, когда я думаю о своей сестре. Она начала писать тайно от всех, никому не разрешая познакомиться с написанным. В конце концов, набравшись мужества, дала почитать мне. Я сам пребывал в растерянности: ко мне отнеслись благожелательно как к молодому многообещающему режиссеру и смешали с грязью как писателя. Писал я плохо, манерно, подражая Яльмару Бергману и Стриндбергу. И обнаружив тот же неестественный, натужный стиль у сестры, я пригвоздил к столбу ее опыты, не сознавая, что для нее это был единственный способ излить душу. По ее собственным словам, она бросила тогда писать. Чтобы наказать меня или себя или потому, что пала духом, не знаю.

VI

Решение отложить в сторону кинокамеру было лишено драматизма и созрело во время работы над фильмом «Фанни и Александр». То ли тело взяло верх над душой, то ли душа повлияла на тело, не знаю, но только справляться с физическими недугами становилось все труднее.

Летом 1985 года у меня возникла близкая моему сердцу – как мне казалось – идея. Мне хотелось вернуться к принципам немого кино, сделать большие куски фильма без диалога и акустических эффектов, я увидел – наконец-то! – возможность порвать со своими разговорными фильмами.

Я немедленно засел за сценарий. На меня, выражаясь мелодраматически, еще раз снизошла благодать, во мне горело желание творить. Дни были заполнены тем тайным наслаждением, которое является признаком добротного творческого воображения.

После трех недель плодотворной работы я тяжело заболел. Организм отреагировал судорогами и нарушением равновесия. Я был точно отравлен, растерзан страхом и презрением к своему жалкому состоянию. Я понял, что никогда больше не сделаю ни одного фильма, мое тело отказалось мне помогать, непрерывное напряжение, связанное с работой в кино, было уже невыносимо, отошло в прошлое. И я спрятал подальше свой сценарий о рыцаре Финне Комфусенфейе (о том самом, кто «из дома в дом ходит и помощь везде находит», о безымянном режиссере немого кино, фильмы которого – множество наполовину испорченных пленок в жестяных коробках – находят во время ремонта в подвале загородной виллы. В уцелевших кадрах прослеживается какая-то смутная взаимосвязь, специалист в области немого кино пытается по губам актеров расшифровать их реплики. Кадры пускают в разной последовательности, каждый раз получая разные сюжетные ходы. В дело вовлекается все больше людей, оно разрастается, разбухает, требует все больше денег, выходит из-под контроля. В один прекрасный день все сгорает – и нитратные оригиналы и ацетатные копии, сгорает дотла целый каземат. Всеобщее облегчение).

Всю жизнь я страдал так называемым желудочным неврозом – курьезная и в то же время унижительная напасть. Мои внутренности пакостили мне с неиссякаемой, зачастую изощренной изобретательностью. Школьные годы были из-за этого сплошным мучением, ибо я не мог предугадать, когда начнется приступ. Внезапно наложить в штаны – травма для любого, и достаточно еще двух-трех подобных происшествий, чтобы навек потерять покой.

С годами я терпеливо научился справляться с этим недугом в такой степени, что могу работать без явных помех. Но это – как если бы у тебя внутри, в самом чувствительном месте поселился зловредный демон. С помощью строгих ритуалов я умею держать его под контролем. Особенно подорвало его власть одно принятое мною решение – хозяин своим действиям я, а не он.

Никакие лекарства не помогают, потому что они либо одурманивают, либо начинают действовать слишком поздно. Один умный врач посоветовал мне примириться и приспособиться. Что я и сделал. Во всех театрах, где я работал подолгу, в мое распоряжение был предоставлен отдельный туалет. Эти туалеты и останутся, вероятно, моим непреходящим вкладом в историю театра.

Итак, создается впечатление, будто живущему во мне демону все-таки удалось одержать победу над моим желанием снимать фильмы. Но это вовсе не так. Уже около двадцати лет меня мучает хроническая бессонница. Страшного в этом ничего нет, человек может обходиться гораздо менее продолжительным сном, чем это принято думать, мне, во всяком случае, вполне хватает пяти часов. Изнуряет другое – ночь делает человека легко ранимым, смещает перспективы; лежишь и прокручиваешь дурацкие или унижительные ситуации, терзаешься раскаянием

за необдуманные или преднамеренные гадости. Частенько по ночам слетаются ко мне стаи черных птиц: страх, бешенство, стыд, раскаяние, тоска. Для бессонницы тоже существуют свои ритуалы: поменять кровать, зажечь свет, почитать книгу, послушать музыку, съесть печенье и шоколадку, выпить минеральной воды. Вовремя принятая таблетка валиума дает иногда превосходный эффект, но она же может привести к роковым последствиям – раздражительности и усилившемуся чувству страха.

Третья причина моего решения – надвигающаяся старость, явление, по поводу которого я не испытываю ни сожаления, ни радости. Тяжелее стало преодолевать возникающие проблемы, больше возни с мизансценами, медленнее принимаются решения, непредвиденные практические трудности буквально парализуют меня.

Накопившаяся усталость выражается в растущем педантизме. Чем сильнее утомление, тем сильнее недовольство: чувства обострены до предела, я повсюду вижу провалы и ошибки.

Придирчиво перебирая свои последние фильмы и постановки, я тут и там обнаруживаю крохоборческое, убивающее жизнь и душу стремление к совершенству. В театре опасность не так велика, там я имею возможность подкараулить погрешности или в крайнем случае меня поправят актеры. В кино – все бесповоротно. Ежедневно – три минуты готового фильма, которые должны жить, дышать, быть произведением искусства. Порой я отчетливо, почти физически ощущаю в себе глухо ворочающееся допотопное чудовище – наполовину животное, наполовину человек, – готовое в любую минуту вылезти наружу: однажды утром у меня на языке появился отвратительный привкус его жесткой бороды, тело мое задрожит от подергивания его слабых членов, я услышу его дыхание. Я чувствую наступление сумерек, но это не смерть, а угасание. Иногда мне снится, будто у меня выпадают зубы, и я выплевываю изо рта желтые крошащиеся огрызки.

Я ухожу до того, как мои актеры и сотрудники заметят это чудовище и преисполнятся отвращением или сочувствием. Слишком часто я видел своих коллег, погибавших на манеже, – они умирали, словно усталые шуты, замученные собственной тоскливостью, под свист или вежливое молчание зрителей, и униформа – участливо или с презрением – выносила их из-под лучей прожекторов.

Я беру свою шляпу, ибо пока еще достаю до верхней полки, и ухожу сам, хотя и болит бедро. Творческая активность старости – вещь отнюдь не очевидная. Она периодична и случайна, приблизительно так же, как и тихо угасающая чувственность.

* * *

Выбираю один съемочный день в январе 1982 года. Судя по моим записям, на улице холодно, минус двадцать. Я просыпаюсь, как обычно, в пять утра, – или, вернее, какой-то злобный дух будит меня, выталкивает, точно по спирали, из глубокого сна, голова ясная. Чтобы предупредить истерию и вредительские действия своих внутренностей, я немедленно поднимаюсь с кровати и несколько секунд неподвижно стою на полу с закрытыми глазами. Проверяю положение дел на сегодня – в каком состоянии тело и душа и, прежде всего, что предстоит сделать. Отмечаю, что у меня заложен нос (воздух пересушен), боль в левом яичке (вероятно, рак), болит тазобедренный сустав (старая болячка), звенит в большом ухе (неприятно, но можно не обращать внимания). Далее устанавливаю, что истерика под контролем, страх перед желудочными спазмами умеренный, сегодня предстоит работа над сценой Измаила и Александра, и я опасаясь, как бы вышеупомянутая сцена не оказалась за пределами возможностей моего юного и храброго исполнителя главной роли. Мысль же о том, что скоро я буду работать со Стиной Экблад, вызывает радостное предвкушение. На сем первая проверка завершается, она дала небольшой положительный перевес – если Стينا оправдает мои ожидания, я справлюсь с

Бертилем – Александром. Я уже наметил два стратегических варианта: один – с равноценными артистами, другой – с основным и вспомогательным.

Теперь главное – спокойствие, успокоиться.

В семь часов мы с Ингрид завтракаем в дружеском молчании. Желудок пока ведет себя тихо, на пакости ему осталось сорок пять минут. В ожидании его действий я прочитываю утренние газеты. Без четверти восемь за мной приезжают и отвозят в съемочный павильон А/О Эурупафильм в Сюдбюберге.

Эта когда-то пользовавшаяся хорошей репутацией студия сейчас находится в стадии запустения. Занимаются там в основном производством видеофильмов, а персонал, оставшийся со времен кино, растерян и обескуражен. Сама киностудия представляет собой грязное, требующее ремонта помещение с никудышной звукоизоляцией. Аппаратной, оборудованной на первый взгляд с вызывающей улыбку роскошью, пользоваться нельзя. Проекторы никуда не годятся, резкость не держат, остановить кадр невозможно, звук плохой, вентиляция не работает и ковер в пятнах.

Ровно в девять часов мы приступаем к съемкам. Очень важно начать работу вовремя, всем вместе. Споры, сомнения должны быть вынесены за пределы этого внутреннего пространства полной концентрации. С момента начала съемок мы – сложный, но единый механизм, имеющий своей задачей создание живых картин.

Работа быстро входит в налаженный ритм, царит искренняя и безыскусно-доверительная атмосфера. Единственно, что мешает нам в этот день, – звукопроницаемость и отсутствие уважения к красным сигнальным лампочкам в коридорах у тех, кто находится вне стен съемочного павильона. В остальном день приносит робкую радость. Уже с первой минуты чувствуется, насколько поразительно Стина Экблад постигает суть образа обиженного судьбой Измаила. Самое же замечательное в том, что Бертиль – Александр сразу уяснил ситуацию и с трогательной, присущей лишь детям неподдельностью выражает сложное состояние любопытства и страха.

Репетиции идут легко, без задержек, настроение – умиротворенно-приподнятое, творческая фантазия бьет ключом, чему во многом способствуют декорации, созданные Анной Асп, и свет, установленный Свенном Нюквистом с той непередаваемой интуицией, которая отличает его ото всех остальных и делает одним из лучших, если не лучшим, в мире мастеров по свету. На вопрос, как ему это удастся, он обычно перечисляет несколько основных правил (весьма пригодились мне в театре). Главный же свой секрет он не хочет – или не может – открыть. Если ему почему-то кажется, будто ему мешают, подгоняют, или просто у него плохое настроение, все идет наперекосяк, и приходится начинать сначала. У нас было с ним полное доверие и взаимопонимание. Иногда мне становится грустно от мысли, что нам не придется больше работать вместе. Особенно когда я вспоминаю такой день, как этот. Я испытываю чувственное удовольствие, работая бок о бок с сильными, самостоятельными, творческими людьми: актерами, техниками, электриками, администраторами, реквизиторами, гримерами, костюмерами – одним словом, всеми теми, кто заполняет день и помогает его прожить.

* * *

Временами я остро тоскую по всем и всему. Я понимаю, что имеет в виду Феллини, утверждая, что для него работа в кино – образ жизни. Понимаю и рассказанную им историю про Аниту Экберг. Последняя сцена с ее участием в «Сладкой жизни» снималась в студии, в автомобиле. После завершения съемок, что для нее означало вообще конец работы в этом фильме, она заплакала и, вцепившись руками в руль, отказалась вылезать из машины. Пришлось, применив некоторое насилие, вынести ее из студии.

Иной раз профессия кинорежиссера доставляет особенное счастье. В какой-то миг на лице артиста появляется неотретированное выражение, и камера запечатлевает его. Именно это случилось сегодня. Неожиданно Александр сильно бледнеет, и лицо его искажается от боли. Камера регистрирует это мгновение. Выражение боли – неувимой боли – продержалось всего несколько секунд и исчезло навсегда, его не было и раньше, во время репетиций, но оно осталось зафиксированным на пленке. И тогда мне кажется, что дни и месяцы предугадываемой скрупулезности не пропали даром. Быть может, я и живу ради вот таких кратких мгновений.

Как ловец жемчуга.

* * *

Шел 1944 год. Я назначен руководителем Городского театра Хельсингборга. Перед этим я довольно долго обрабатывал сценарии в «Свенск Фильминдустри» («СФ»), и по моему сценарию был снят фильм. Я считался человеком одаренным, но с грудным характером. Между «СФ» и мною был заключен своеобразный «контракт на право обладания», который, не давая мне никаких экономических выгод, мешал моей работе на другие кинокомпании. Но риск был невелик. Несмотря на определенный успех «Травли», мною никто, кроме Лоренса Мармстедта, не интересовался. Тот же звонил мне время от времени и любезно-издевательским тоном спрашивал, сколь долго я еще буду привязан к «СФ» и стоит ли овчинка выделки; говорил, что я там наверняка сгнию, зато он, Лоренс, смог бы сделать из меня приличного кинорежиссера. Я пребывал в нерешительности, на меня давили авторитеты, и я решил все-таки остаться у Карла Андерса Дюмлинга, относившегося ко мне по-отечески и чуть-чуть снисходительно.

Однажды на мой стол легла пьеса. Она называлась «Modedyret»⁵ и была написана одним легковесным датским сочинителем. Дюмлинг предложил мне сделать по этой пьесе сценарий. Если сценарий будет одобрен, я получу возможность поставить свой первый фильм. Я прочитал пьесу – она показалась мне ужасной. Но я был готов снимать фильм хоть по телефонному каталогу. За четырнадцать дней написал сценарий и получил «добро». От радости я несколько помешался и потому, естественно, не сознавал реального положения вещей. В результате чего очертя голову падал во все ямы, вырытые мною самим и другими.

* * *

Киногородок в Росунде представлял собой фабрику, производившую в 40-х годах от двадцати до тридцати фильмов в год. Там было в достатке всего – профессионализма и ремесленных традиций, рутины и богемы. Работая сценаристом-«негром», я немало времени провел в студиях, киноархиве, лаборатории, монтажной, отделе звукозаписи и кафе и поэтому довольно прилично знал и помещения, и людей. К тому же я был горячо убежден, что вскоре заявлю о себе как о лучшем режиссере мирового кино.

Одного я лишь не знал – по моему сценарию планировалось сделать дешевый второразрядный фильм, в котором можно было занять главным образом актеров, работавших в кинокомпании по контракту. После долгих нудных уговоров мне разрешили снять пробный фильм с Ингой Ландгрё и Стигом Улином. Оператором был Гуннар Фишер. Мы с ним были ровесниками, оба преисполнены энтузиазма и хорошо сработались. Пробный фильм получился длинным. Мое воодушевление после просмотра не знало границ. Я позвонил жене, оставшейся

⁵ Мать-животное, матка (дат.).

в Хельсингборге, и в диком возбуждении заорал в трубку, что, мол, теперь время Шёберга, Муландера и Дрейера кончилось, идет Ингмар Бергман.

Воспользовавшись бившей из меня фонтаном самоуверенностью, Гуннара Фишера мне заменили Ёстой Рууслингом – покрытым шрамами самураем, известным своими короткометражками, в которых демонстрировались небесные просторы и красиво освещенные облака. Он был типичным документалистом и практически никогда не работал в студии. В установке света разбирался плохо, презирал игровое кино и очень не любил снимать в помещении. Мы невзлюбили друг друга с первого взгляда. А поскольку мы оба чувствовали себя не слишком уверенно, то прятали эту неуверенность за сарказмами и дерзостью.

Первые съемочные дни [«Кризиса»] были кошмарным сном. Я весьма скоро уяснил, что попал в машину, с которой мне не совладать. Понял и то, что Дагни Линд, которой я скандалами добился на главную роль, – не киноактриса и не обладает нужным опытом. С ледящей душу четкостью я осознал, что все видят мою некомпетентность. На их недоверие я отвечал оскорбительными вспышками ярости.

Результат наших усилий оказался прискорбным. Вдобавок из-за дефекта в кинокамере часть сцен была снята не в фокусе. Звук тоже вышел некачественный, разобрать реплики актеров можно было лишь с большим трудом.

За моей спиной шла активная деятельность. По мнению руководства студии, следовало либо прекратить съемки вообще, либо сменить режиссера и исполнительницу главной роли. Мы надрывались уже три недели, когда я получил письмо от Карла Андерса Дюмлинга, находившегося в то время в отпуске. Он писал, что посмотрел отснятый материал и считает его перспективным, несмотря на все недостатки. И предложил начать сначала. Я с благодарностью принял предложение, не заметив западни, крышка которой пока еще выдерживала вес моего истощенного тела.

На моем пути стал – как бы случайно – попадаться Виктор Шёстрём. Он цепко хватал меня за затылок, и так мы прогуливались по асфальтовой площадке возле студии. По большей части мы молчали, но внезапно он начинал говорить, просто и понятно:

– У тебя чересчур запутанные мизансцены, ни тебе, ни Рууслингу такие сложности не под силу. Работай проще. Снимай актеров спереди, они это любят, будет намного лучше. Не ругайся на своих сотрудников, их это только злит, и они хуже работают. Не старайся сделать каждый кадр главным, зритель подавится. Проходные сцены и надо делать как проходные, хотя они не обязательно должны смотреться проходными. – Мы кружили по асфальту, туда и обратно. Шёстрём, не снимая руки с моего затылка, говорил конкретные, дельные вещи, спокойно, без раздражения, хотя я был весьма нелюбезен.

Лето стояло жаркое. Тягостно и безрадостно тянулись дни под стеклянной крышей студии. Я снимал комнату в Старом городе. Приходя домой, я валился на кровать, парализованный стыдом и страхом. В сумерках отправлялся в молочный бар ужинать. Потом шел в кино, всегда в кино, смотрел американские фильмы и думал: «Вот этому мне нужно научиться, этот ракурс совсем простой, Рууслинг, пожалуй, справится. А здесь интересный монтаж, надо запомнить».

По субботам я напивался, прибивался к дурным компаниям, затевал ссоры и драки, меня вышвыривали на улицу. Как-то раз приехала жена, она была беременна, мы поругались, она уехала. А еще я читал пьесы, готовя репертуар будущего сезона в Городском театре Хельсингборга.

Нам предстояли съемки в Хедемуре. Почему из всех возможных мест я выбрал именно этот городишко, сказать не могу. Возможно, у меня была смутная потребность похвастаться перед родителями, которые то лето проводили в Воромсе, расположенном на несколько десятков километров севернее. Мы пустились в путь. В те годы это напоминало сафари: автомобили,

аппаратура, тон-вагены, люди. Мы разместились в городской гостинице Хедемуры. И тут произошло следующее.

Погода резко переменилась. Зарядили дожди, нудные, безнадежные. Рууслинг, наконец-то вырвавшийся на натуру, вместо интересных облаков видел серое свинцовое небо. Он сидел у себя в комнате, пил и отказывался снимать. Я тоже вскоре понял, что там, в студии, руководитель я, конечно, никудышный, ну а уж здесь, в дождливой Хедемуре, я совсем пропал. Большинство членов съемочной группы не вылезали из гостиницы – они пьянствовали и играли в карты. Остальные впали в депрессию, тоскуя по теплу и солнцу. И все были убеждены, что в отвратительной погоде виноват режиссер. Одним режиссерам везет с погодой, а другим не везет. Наш – из этих последних.

Несколько раз мы устремлялись к месту съемки, укладывали рельсы, закрепляли наши несуразные софиты, подвозили аппаратуру и тон-ваген, устанавливали на штатив тяжеленную камеру Дебри, проводили репетицию, хлопала хлопушка – и начинался проливной дождь. Мы прятались в подворотни, усаживались в машины, забегали в кондитерскую – дождь лил как из ведра, свет убывал. Пора возвращаться в гостиницу на ужин. Если же нам все-таки удавалось снять одну сцену – за те короткие мгновения, когда проглядывало солнце, – я так терялся и приходил в такое возбуждение, что, по словам здравомыслящих очевидцев, вел себя как сумасшедший. Орал, бесновался, оскорблял находившихся поблизости и проклинал Хедемуру.

Вечерами гостиница нередко наполнялась шумом и криками. Прибывала полиция. Директор грозился выставить нас вон. Марианн Лёфгрэн, танцующая на столе в ресторане канкан (очень ловко и смешно), упала и испортила паркет.

Через три недели отцам города все это надоело, и они связались с руководством «Свенск Фильминдустри», умоляя ради всего святого забрать этих ненормальных домой.

На следующий день мы получили приказ немедленно прервать съемки. За двадцать съемочных дней мы сняли четыре сцены из двадцати.

Меня вызвал Дюмлиг и дал хороший нагоняй. Он открыто угрожал забрать у меня картину. Может быть, вмешался Виктор Шёстрём, не знаю.

Но это были цветочки, ягодки ждали впереди. В фильме была сцена, происходившая в салоне красоты, а рядом с салоном, по сценарию, располагалось варьете. Вечером в салоне слышны музыка и смех из театра. Я настаивал на том, чтобы выстроить целую улицу, ибо не нашел во всем Стокгольме подходящего места. Строительство обойдется недешево, это я понимал, несмотря на состояние помешательства, в котором находился. Но мысленно я уже видел окровавленную голову Яка, прикрытую газетой, мигающую вывеску варьете, освещенные окна салона красоты с застывшими под причудливыми париками лицами, промытый дождем асфальт, кирпичную стену на заднем плане. Мне нужна улица во что бы то ни стало.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.